

Галина Калинкина

Галина Калинкина

Лист лавровый
в пищу не употребляется

роман-надежда

Лист лавровый в пищу не употребл



СОДЕРЖИТ
НЕЦЕНЗУРНУЮ
БРАНЬ

18+

Галина Калинкина

**Лист лавровый в пищу
не употребляется...**

«Автор»

2023

Калинкина Г.

Лист лавровый в пищу не употребляется... / Г. Калинкина —
«Автор», 2023

"Лист лавровый в пищу не употребляется", роман-надежда – сага о старообрядцах, но и не только. Он о людях верующих и неверующих, об атеистах и надеющихся; мир рушится, а герои пытаются сохранить веру и себя - главное, своего держаться, чтобы не происходило. Роман-надежда - это гимн честным и правильным. Герой и его окружение в «нестыкующихся эпохах» соотносятся не с законами установленного режима, а с замыслом Вечности: «правда давно найдена». Развал родового гнезда и сохранение своего «я» людьми с упрямством в морали становится условием человеческого самоосуществления в искорёженном мире. Среди «снеговой борьбы», разборов реквизированных коллекций в музее, в очередях приёмника-распределителя, в советском сиротском приюте над каждым из героев, ежедневно делающих свой выбор, идёт невидимый и независимый суд поступков.

© Калинкина Г., 2023

© Автор, 2023

Содержание

ПРОЛОГ. Глава НОВЫЕ ЧИСЛА И ДНИ	6
2	10
Глава СТАРЫЕ ЧИСЛА И ДНИ	15
2	24
3	57
4	65
5	73
6	86
7	96
Конец ознакомительного фрагмента.	100

Галина Калинкина

Лист лавровый в пищу не употребляется...

Воспрянь, псалтирь и гусли! Я встану рано...

Псалом 107-й

ПРОЛОГ. Глава НОВЫЕ ЧИСЛА И ДНИ

1

Смертный список

1991-й год

На ночь всегда нужно прощаться. Вот счёт окончу...

«Ложки серебряные – Миле,

бусы агатовые и полуимпериал – Веке,

ридикюль крокодиловой кожи и полуимпериал – Тусе,

«Мозера» карманного –Товке,

полуимпериал и папашин портсигар в двадцать золотников – ему же,

запонки с тарантулом, перстень-печатку и полуимпериал – Мике,

вазу Галлэ с черной хризантемой, серьги-«слезки» горного хрусталя,

и полуимпериал – снова Миле,

Евгению – молчуна-«Макария»,

барометр Карла Воткея и «Гуслияра» медного с чернилами...»

Зачеркнуть. Без чернил.

«Шуше – «Спас–Эммануил», «Спас – Лоза Истинна», «Спас – ярое око»

и Матушку-«Елеусу», фантаскоп со стеклянными пластинками для туманных картин,

«Ниву» за 1911-й год и альбом с карточками ей же,

Псалтирь с серебряными застежками,

лестовку, молитвенник сафьяновый – Липе,

«Николау дырявого»,

«Николау паленого» и «Прибавление ума» в храм снести,

к отцу Ульяну...»

Теперь можно снести. Пусть снесут.

«Дома Малый и Большой – за живущими в них. Платье – нищим.

Книги...».

А что делать с библиотекой? Кому нужна пыль собрания сочинений отмененных авторов? Книга – дух, не тело, не плоть. Книга – воздух, книга – слезы; как отдашь? Про библиотеку подумать и вписать. Память на девяносто первом году принялась шельмовать. Прошлым годом сносно вела, а нынче себя оговаривает. Жил каждый день и незаметно из мальчика стал старик. Теперешняя жизнь сузилась так, что оторванная пуговица, расколотая чашка, выпавший снег – событие.

Лавр Павлович выключил лампу под зеленым плафоном и тут же снова включил. Зажег от спички витую стеариновую свечу и вовсе погасил *зеленый*. В горсти трепыхалось пламя, обжигая узловатые пальцы и едва освещая спинку кровати, подлокотник кресла и угол с книжными полками – часть разгороженного, тесного, а прежде просторного, в два окна, кабинета. Опасаясь заскрипеть дверными петлями, крадучись выбрался в приоткрытую дверь и зашаркал ближе к спальне Шуши. Свет тащился за свечой через весь зал.

От оконного занавеса на бахромку гобеленовой скатерти и львиные ножки «Бехштейна» пролегла безукоризненная игла лунного луча. Приостановился у рояля, порицательно покачав головой, как на вещь странную, не входящую в его *смертную* опись. Задержался возле круглого стола, прислушался к сонному голосу из комнаты внучки.

«В горнице, где мы собрались, было довольно светильников... Меж тем отрока привели живого, и немало утешились».

– Шушка, вслух читаешь?

– «...И провожали его до корабля».

Александра шумно захлопнула книгу.

– Тсс...не греми. Спят. Ставлю вопрос: откуда это? Знакомо.

– Так...

– Уж и ответить трудно. Помешал. Всем мешаю.

– Деинька, иди спать.

– Каждый день докладываю им про болезнь «старуху-бессонницу». Не удосуживаются запомнить: прежде второго часу не почиваю.

– А нянька говорит, от бессонницы молиться святым Киру и Иоанну.

– Пустое.

– А я вот читала, древние греки под постель клали лавровую ветку, чтоб сны снились.

– Победные?

– Вещие.

– На что мне? Я всё повидал из жизни своей.

– А который теперь час? «Макарий» всё молчит.

– *Не на то дана ночь, чтобы всю её спали.* Послушай лучше, что отец твой пишет.

Старик отступил с порога в темноту зала, склонился со свечою над столом и, надев очки, подвязанные на веревке вокруг шеи, громким шёпотом принялся зачитывать: *«Люблю огни малые: ночники, настольные лампы, матовые светильники в дребезжащих вагонах, как задраенные иллюминаторы. Люблю свечи и лампы – свет утешающий. Люблю свет, дающий призрачность покоя в круге своем, обещающий увод от напастей, что во мраке за ним. Тихий свет – дар и благодать, точка притяжения. Тянет из темноты поднырнуть в круг абажура, под благодать. Люблю тлеющие угли, светотени, блики, светлячковые переливы, но не огонь яростный: не лучину, не факел, не сторожевое пламя костров у бивака. В тихом свете пишут письма, читают Псалтырь, под ним штопают и вышивают, убаюкивают дитя, творят молитву».* А теперь, Александрин, я поставлю тебе вопрос: кто из нынешних такое читать станет? В стране серой пахнет, что качествует о близости нового разлома. Я запах серы издали чую.

– Деинька, иди спать. И я ложится стану. Папа пишет не настоящему, он будущему пишет.

– Нет, ты послушай: *«Люблю время между волком и лисицей, когда мощь дневного света притушена, когда сумерки встают над миром, неполный свет замедляет течение минут, виден сам переход от света к тьме. Выпадает суeta из рук; и руки вдруг без дела возлежат на коленях, как холмы недвижимые, а взгляд устремляется в листву, в кроны и выше, выше. Какой закат нынче? Будет ли ведро завтра? Вон ласточка все норовит под стропила забиться, шурша крылом на вираже. Тише шаг, глуше звуки, медленнее речи, мягче сердце».*

– Деда, ты плачешь?

– Не помнишь, когда я последний раз плакал? Надо записать. Мне жалко сына, прежде он обладал способностями...

– Папа и сейчас такой – способный.

– Нет, шалишь. Был, да весь вышел. Благодаря матери твоей – конкубинке и мшелоимке. Трагедия вещности. Евгений мог бы стать журналистом-международником. Но матери твоей не подходила его зарплата в газете. Оттого и микроскоп подарила, в издёвку. Оскорбительно. Да, да, благодаря ей и времени благодаря он не состоялся. Не в свое время живет. Ему бы до Переворота родиться, с его-то душою. А нынче снова слишком упругое, хищное время подступает, уж я-то знаю. *Огонь, и сера, и бурный ветер – их доля из чаши...* Меня поражает в разуме близорукость твоего отца, ведь нынче лирика не у дел: *«Люблю весну позднюю – заминку, задел, паузу перед буйством цветения. Люблю предвкушение тепла, надежду на последующую ярость солнца, веселящий зной, надежду на силу Зовущего. Весна – черновик лета. Весна –*

благовест, наплывающий тихим, малым ходом. Еще не приход, еще не мир, но перемирие и примирение. И обещание жизни будущего века».

Шуша со стуком затворила среднее окно в трехстворчатой раме зала, задернула гардину, укоротив иглу луча.

– Не бурчи: папа не мог родиться прежде тебя. Пойдём-ка, провожу до ложа.

– Разумно. Какие ясные ночи, свет сквозь занавесь сочится, – старик зашаркал ногами вслед уносимой свече, – *Савл, Савл, что ты гонишь меня?* Странное начало лета.

– Отчего странное, деинька?

– В воздухе вдруг запах осени – флоксов и яблок. Прежде времени. Запах *особой* осени, осени возвращения.

– Возвращения? Завтра расскажешь. Расстелить постель?

– Расстели, пожалуй. Но с тонким сном я и в кресле посижу.

– Чаю?

– Что ты... Разбудишь их. *Мирен сон и безмятежен даруй ми.*

– Няня спит крепко.

– А Мила с её мигренями?!

– А Мила говорила, на ночь полезно мёду – успокаивает. Соты пожуй.

– *Пищею его были акриды да дикий мед...*

– Деинька, а ты был счастлив?

– *Я был молод, и вот, состарился и не видел ни праведника оставленным, ни семени его, просящим хлеба.* Попрощаемся. На ночь надо всегда прощаться.

– Кабинет твой как келья. И сам ты, когда вот так склоняешься над книгой или иконой,ходишь на древнего монаха. Ты у меня самый мудрый и самый добрый монах.

– Ставлю вопрос. Не снести ли к о.Ульяну «Николау дырявого» и «Николау паленого»?

– Ты же всё говорил «нельзя, да нельзя».

– Теперь можно.

– Можно? А Липа говорит, опять времена последние, порохом пахнут.

– У меня подхватила. Времена дико смотрят. Но само Время есть драгоценность, требующая охраны.

– Липа считает, самое драгоценное в нашем доме был двоежирный сундучок с тайником.

– Считать умеет. Да не то считает. Ты знаешь, кто учил её арифметике?

– Знаю. Сто раз слышала. Во времена революции началась ваша история с Ландышем.

– Нет, после Переворота.

Девушка покрыла ноги старика кашемировым пледом, поцеловала в макушку и вышла, притворив за собой дверь.

Свеча в сквозняке погасла.

В темном зале Шушины щиколотки пронзил короткий истончившийся луч, прошёл будто насквозь и пролёг дальше к «Бехштейну», уже не достав золотистых «львиных лап». Нащупав, захлопнула тетрадку на столе, угодила пальцами в холодный воск. Закапал-таки. Папа догадается – читали. Ну и нечего оставлять на виду. А может, отец нарочно оставил? Обронил же: должны быть утечки. Прислушалась к бурчанию за дверью: «Завтра расскажешь... Будет ли оно, это завтра? Ложки серебряные – Миле, бусы агатовые – Веке...». Есть какая-то странность в разделе. Определённо есть. Разве у Липы спросить? У самого деиньки как-то неудобно.

Ночью особенно мрачно из своего угла выпирал накопивший тишину чёрный инструмент – семейное замалчивание, тайна. Вспомнились нянькины причитания: *не убоишия от страха ношнаго, от стрелы летящия во дни, от вещи, во тме преходящия.* Шуша с детства перебарывала страхи таинственности вещей, заставляя себя наперекор трогать руками *страшную* вещь, отучалась от испуга перед сверхъестественным. Но сейчас отдернула руку от сумрака гладкой

крышки – рояль недвижим как кадавр. Пора ложиться. «Молчун» показывал без четверти час. Напольные часы мастера Андрея Макарова, опережавшие возрастом хозяина-старика – Лавра Павловича, шли безошибочно точно, давно молча, онемев и оглохнув, забыв свой прежде басовитый и переливчатый бой.

2

Пустые стулья 1991-й год

Утренний чай пили беспорядочно, в разное время.

Собирались вместе за стол обычно к обеду, в шестом часу, или чаевничать перед сном, часу в девятом.

Теперь рано разбежались по делам: без завтрака умчалась Шуша, за дочерью, спешно перекусив, ушел Евгений. Мила собралась на службу, глотая на ходу горячее молоко с мёдом, обжигаясь – так некстати, летом, першило горло. Отдала няньке Липе указания на день, главное – не болтаться одной на рынке. А после ухода домоправительницы, размеренно выпив две чашки чаю с оладьями, прибрав за всеми на кухне – большего ей делать не позволялось, и Липа пошаркала длинной верандой вдоль дома. Ещё не согбенная, с ясными, живыми глазами, отчетливым голосом, разве что слух подводит. Но пытлива и внимательна к жизни, хлопотлива, любопытна и памятьлива. Оставленная ею горка оладий дожидалась не вышедшего к завтраку Лавра Павловича. Должно быть, опять полуночничал.

Горбатым мостком над овражком от пущенной давным-давно под землю Таракановки перебиралась нянька на запретный базарный рай. Много лет разными временами и погодями она толкалась на рынке, выменивала, торговалась, собачилась, ловчила, изворачивалась, лгала, отстаивала своё, чтобы в семье имелось в достатке молоко, яйца, хлеб, сахар и вкусненькое к вечернему чаю. Нынче больше ходила по привычке.

Дома оставался один Лавр.

Если не дремал и не работал, то отдыхом его было хождение по комнатам в раздумьях. Бродил взад-вперед, не косясь на зеркало и не оглядываясь. А если б оглянулся, увидел бы высокого сухопарого старика, с седой копной, серебристой окладистой бородою, в синей вельветовой куртке поверх сорочки. Но он не оглядывался. Некогда. Мысли наплывают.

Как странна Липина жизнь! Маленькая, скудная жизнь, вся на глазах, на людях, на вторых ролях, на задворках, без своего угла, своего дома. Значит, можно жить и без венков лавровых? Все её счастье в счастье семьи, где она с пятнадцати лет. Дети, выращенные ею, не её собственные. И всегдашняя величайшая Липина забота благополучие их. Удивительное в ней умение: продлевать чужую радость. Всех в доме она любит и нет у нее никого ближе. А что же у Липы своего? Воспоминания о Верее? Детство? Сватовство? Ничего великого совершить не удалось: многие проживают жизнь не ярко. Но не все тем довольны. А у нее равновесие, размеренность во всем и свое особое, почти детское отношение к вере. Чем она живет в нынешней своей поре? Думами о том, что было, чего не было и что могло бы быть с нею. Воспоминаниями о былом и мечтами о возможном, не сбывшемся. Переживаниями за домашних и хлопотами. Значит, и так могут быть счастливы люди?

Лавр задержался у барометра Карла Воткея. Из домика вышла женщина, мужчина же показал спину в дверях; знать, будет ведро. Вот как бургер из дома выйдет, а бургерша спрячется, жди дождей.

В прежние годы в Большом доме в Алексеевой слободе и зал в три фасадных окна имелся, и комната-библиотека, и кабинет, не разгороженный ещё, и детская, и диванная на террасе в сад. Застеклённая веранда опоясывала весь дом со двора, идя от крутого уличного крыльца, вдоль зала, перетекая в кухню и горницу для прислуги.

Братья Лантратовы женились, обрастали семьями, строились. Так в слободке возле храма Илии Пророка вырос новый Большой дом с перепадами в полах, с чуланчиками, антресолями и лесенками. Потом семья разрослась до размеров рода, и во дворе с качелями и калиткою

в сад примостился флигелёк – дом малый. И Малый пустым не стоял, вскоре заселился. В Большом отмечали торжества: то именины, то рождения, а после – все больше похороны да поминки. В нагрянувшие времена уплотнения всех домочадцы занимали Большой, а в Малый въехал клуб шведов. Лавр едва сносил, глядя, как *повсюду* и в самом доме его хозяйствуют пришлые, чужаки. Но один человек, его Ландыш, умел умирять укором или молитвой. Почти два года спустя под Рождество временщики неожиданно съехали, получив где-то на Заставе Ильича большее помещение под свои собрания. Флигель высвободили и больше не зарились, а домочадцы Большого дома не стали ничего разгораживать в память о «тесных временах». Пускай диванная превратилась в склад дров и овощей, пусть горка-махакон, комод красного дерева, качели и садовые лавки на топку истратились, зато все дивились чудесному освобождению под праздник.

Когда супруга Лавра Павловича ушла, когда дети выросли и разъехались – всё стало неважно. Словно в утешение, место под могилу досталось хорошее, почти что под церковной стеною, неподалеку от часовенки монахини Гавриилы. Переживать горе в семье совсем не то, что в одиночестве: череда событий забирает на себя скорбь, поминовение и мысли о необратимом. В храме Илии Пророка первым годом священствовал о. Ульянов, Ульянов Алексеич Буфетов, из местных, сговорчивый в мирских делах и непримиримый в догматах веры. В кончину супруги Лавра Павловича он мягко поддерживал горящего, давая утешение без излишнего взаимного приближения.

Время шло и, казалось, исцеляло. Да разве любовь болезнь? Разве любовь излечима?

Слободка зарастала вокруг каменными башнями, как зубцами крепостной стены. По вечерам окна Большого дома слепили огни девятиэтажек, неоновые вывески рекламы. Город пульсировал электричеством, неживым светом, запитанным в цепь событий и обстоятельств. Среди новостроек два осевших, вросших в землю лантратовских дома, с дубовыми ставнями и резными наличниками, с наверхиями и кокошниками, с берегинями и прибогами, стоявшие почти на краю овражка, оставшегося от пущенной в землю Таракановки, гляделись как захолустное умирающее поместье, как палаты древнего городища: и снести недосуг, и оставить не к месту. Флигель всё больше пустовал. Его содержали в порядке на случай приезда кого-то из родни: зимой протапливали, летом проветривали; в нем лелеяли надежду на воссоединение семьи.

Шли дни, а к Лавру так никто и не ехал: ни Анатолий, ни сын Евгений, ни дети их Мика, Туся, Века и Шуша.

Вечное ожидание. Вечное.

У Лавра Павловича как-то сразу не задались отношения с обеими невестками. Сыновья взяли сторону жён, не приняв суждений отца – отсюда распад семьи. И при разъезде, назревшем сиротстве дома, Лавру обидным казалось расставаться с каждым из четверых внуков, но именно Шушу, Алексашку, Александрину он отпускал тяжелее всего – младшенькая, крайняя. И со временем ему, уже умудренному и отринувшему гордыню, не доставало радости житья из-за разлуки с младшею.

Так и куковали втроем: вдовец с дочерью – старой девой, да нянька. Дом держала Мила, характер ее выковывался годами не разменянного девичества, невысказанной жалостью родных, потаканием домочадцев из-за боязни огорчить *несчастливцу*. В вопросах домашнего уклада сам хозяин и нянька Липа – Олимпиада Власовна – подчинялись строгим приказам своей домоправительницы. Мила всю жизнь проходила на работу в статбюро и школу, чередуя «службу» с «призванием». Хотя в свои высокие годы давно могла позволить себе не работать. А когда домашние увещевали её, отвечала с прямоотой и резкостью: «А что я дома-то делать стану?» Спрашивающие отставали, размышляя над продуманностью жизни. Несла история Милы одну из тайн лантратовского семейства.

И все же, и все же.

Должно быть, крайняя, младшенькая Шуша – лицом копия его Ландыша, успела в детстве нацедить в себе любви дедовой, потому и вернулась из Гатчины в слободку взрослой барышней, спустя почти что десять лет разлуки. Возвращение вышло через одну тонко состряпанную аферу.

Утром дом опустел.

Сегодня все рано разбежались по делам. Умчалась Шуша, поспешил и Евгений, Мила с больным горлом отправилась на службу, нянька – надзирать базар. Лавр прошелся по комнатам, подметил: нынче шаг его схож с бесцельным, кружным шарканьем няньки. Дошёл от окна до окна – день прожит. Стариками стали. А старик – собеседник самому себе, человек с часами в руках. Старятся вместе все те, что были вместе и молодыми. Старятся вместе с вещами. В вещах сокрыта жалость. Нет, не говорите, жизнь и в старости хороша, так хороша! Надо проходить её без опаски, без ропота, кротко ощущая приближение самого непонятого, неоткрытого человеку. Старость – время смягчения.

Сколько лет прошло после ухода Виты, его Ландыша? *На ночь нужно всегда прощаться.* Все, должно быть, считают, он и горевать перестал. А он просто перед ними не открывается, да все говорит, говорит с нею изо дня в день. Вот и нынче, и третьего дня беседовали. Горло берегу, не пью холодного. Капли принимаю на ночь. Долго не читаю, не читаю. Берегу глаза. Зачем?

Следом за нею чего ж сразу не подался? Взмахнул бы крылом, *чтоб далеко не отстать.* Да разве их, тех, кто там уже, догонишь... А теперь и подавно. Но она обещает, дождаться, встретить. Без неё-то будто жизни убавилось, от света, от времени, от дня и ночи убавилось, она и сама была жизнь – *vita*, Вивея. Надолго он ее пережил. Но каждый одинокий его день оставался днем сосредоточенного вдовства.

Пройдя комнаты и не отыскав ни одной вещи в неположенном месте, старик вернулся в кабинет. Здесь пахло ландышевыми каплями. Молчун «Макарий» с тех самых баламутных времен стих. Страшные долгие зимы тогда стояли. Лишь флигель дышал теплом, там красные шведы заседали. Стены Большого дома промерзали до инея внутри. А после отходили сыростью. И тени укутанных бесформенных тел мрачного Большого дома вглядывались в пылающие светом и теплом окна дома Малого. Часовой механизм чувствителен. Сначала «Макарий» сбавил басы, стал бить гонг с дрожанием, хрипотцой, вскоре осип и вовсе умолк. С тех пор и спасается молчанием, как затворник.

А нынче и печь затихла на лето. И кенарь молчит. Ах, да, кенарь сдох прошлым годом. Всё на местах и вещи дают своей вещественностью. Старые вещи вызывают жалость. Вещи вообще доказательства несчастий. Ты хочешь забыть, а они тебе упрямо выказывают горе. Вот как пустые кровати. Или лишние стулья за столом. Вот и «Макарий» напоминает. Декретом отменили время, как буржуйский анахронизм. Соседи тогда советовали маятник тряпочной подвязать. Да голос у «Макария» и так сорвался.

Все вещи бездушны, но одухотворены либо мастером, либо владельцем. За вещь говорит клеймо, проба, ярлык, мета и многое может рассказать, только спроси. Старик любит вещи не как старьевщик или антиквар, берегущий и ценящий, не как бедняк, любит вещи, приносящие пользу. Старик Лавр любит вещи, возбуждающие привязанность памяти. Разворачивающие память. В вещах живет тишина. Но вещи не всегда тихи. Пока память не восстанет, да не возопит. Вещи держат атмосферу только в сочетании, особом порядке. Попробуй разрознить и атмосфера исчезнет. А если человеку без надобности новые вещи, тут бы старые не утратить, то человек тот, должно быть, на последний свой путь вступил. Новая вещь не успеет вобрать в себя память. Бесполезна старику новая вещь. Старик тихо восходит к смерти.

Лавр имел привычку определять каждой вещи её место и не держать ничего лишнего возле себя. Но ведь бывают на свете вещи, которые не имеют своего места. Так и человеки.

Нагромождения обычно сердили старика как несовершенство, сбой гармонии. В невероятных дебрях вещей и предметов люди ориентируются и ухитряются управлять ими. Или вещи управляют хозяевами? Нынче все вещи на своих местах. И книжный шкаф-махагон – последок от гарнитура-погорельца – кургузо выпячивает грудь. И «Бехштейн» вопрошает. И печь немотствует. И стулья лишние громоздятся.

Господи, освободи от вещей, а память не забирай! Временами тих мир твой, тих и чудесен! Слышен дождь. Хлещет струями. И помимо дождя – тишина. Не разобрать, что говорит Вита. Не зря вернулся в кабинет. Тут форточки закрыты и тишина гуще, значительней. И ландышевыми каплями пахнет. Как же может идти дождь, если бургер вошел в дом, а хозяйка из дому вышла? Не врёт ли «Воткей»?

– Вот дождь льет. А говорят, что Бога нет.

Нянька бормочет чего-то.

– А?

– Какой дождь-то хороший! А всё говорят, Бога нет.

Так нянька же на рынок ушла?!

Мила запрещает няньке по улицам шататься. Вечная у них контроверза: одна из дому, другая следом на базар.

За шумом дождя не слышно Виты. Что она говорит ему? *Дождь ничему не мешал. Дожди там* подавно ничему не мешают. А ведь сам он и не поднимался из кресла. Сидел и молчал. Смотрел на лик «Спаса Лоза истинна». И Спаситель смотрел на него. Им вдвоем хорошо. Будто Херувимская неподалеку слышалась, не перебиваемая дождем... И только казалось, будто ходил по комнатам. Он даже почти уверен, что ходил. Или это вчера было? Спросить у Шуши. И записать. Не отвлекаться. Время нынче твой гонитель. *Вот, Ты пядями измерил дни мои, и естество моё – как ничто пред Тобою.*

«Ложки серебряные – Миле, простые – Липе...». А кому поставить в завещание самого Лавра Павловича Лантрадова? Все пережитое им, прочувствованное, осмысленное почти за век? Кому поставить в завещание память старика? Великая радость, если приготовления твои к часу смертному и посмертные распоряжения идут в таинстве любви, кротости прощения, не в упрёке к тяжёлой, ненасытной на беды жизни. Великая радость.

Вот собрать бы своих за столом, и норовистых Мику с Тусей, и флегматичную Веку, и пылкого Товку, всех-всех. Усадить на пустые стулья. *Придите, соберитесь все и восплачитесь о душе моей.* И хотя всё состоялось, хотя в жизни выше ничего не будет, всё же его жизнь ещё идет. Им кажется, их жизнь идет. Нет, бросьте, это его жизнь тлеет, Лавра Павловича, Лаврика, корсака, лисёнка, имярека, и они внутри его жизни. А вот уйдет он и потекут их жизни с кем-то другим внутри. Всему свой отмеренный срок. Всякому своя мерная икона. *Вот и секира при корене древа моей жизни лежит... Ежеминутно ожидаю посещения.*

Собрать и объявить им с голоса: иду к Солнцу, обсудим-ка... Мила наверняка тут же оборвет и съязвит: аспекты мироустройства? А вот и не аспекты. Нужно сказать им о чем-то исключительном, что *связано* им самим, а *разрешаться* не здесь будет. Собрать. Раздать всё. Смертный должен уйти христарадным котомником. Раскрошить свое счастье и вложить в руки другим. А коли жалеешь отдавать медного «Гусляра» или «Спаса – Ярое око», никудашный из тебя христианин. Непременно собрать за столом, непременно раздать. Не помереть прежде или прямо в застолье. Не испортить *последнего* обеда. Мир таков: протяни руку, шаг сделай – и ты опрокинут. Никто не знает своего предела. *Покажи мне, Господи, конец мой, и число дней моих, какое оно.* Умереть – всего лишь отжить. Смерти бояться? Нет. Ведь снимут пятаки, глаза отворишь в той же действительности, какую сознавал. А другая нить воображения завьётся в тебе и раскроется.

Идея созвать всех овладела им жгуче, как нечаянная радость овладевает попере́к горести. И бывшее, и будущее теперь виделось, как бы сквозь *тусклое стекло, гадательно*. Тогда же

лицом к Лицу предстать придется. И с Ландышем свидеться. И с мамой. И с отцом. И с Ним. Радости-то сколько.

А ведь *там*, за облаком, почти все родные, старшие, собрались. И у них *там*, как и здесь, пустуют стулья. Ждут. Его ждут. Старость – время смятения. Жизнь подходит к Началу. Чем кончается смерть?

Старик скрывал от своих, что нынешним летом он составляет завещание. Как известно, *где завещание, там необходимо, чтобы последовала смерть, смерть завещателя.*

Глава СТАРЫЕ ЧИСЛА И ДНИ

1

Проходящие как деревья.

1913-й год

Черпаков предпочитал, чтобы к нему обращались: «Док». Носил с собой *шагреновой* кожи «докторский саквояж». Никогда не раскрывал его на людях, содержимым его прилюдно не пользовался. О наполнении саквояжа окружающим оставалось только догадываться. Но все собиравшиеся по четвергам у Евсиковых знали, Черпаков окончил лишь курсы ветеринаров. Зато Док умел пространно порассуждать о несовершенстве человеческой породы, о тайных страстишках, о вреде гомеопатии, о высокой литературе. Преподносил весьма противоречивые познания виртуозно, с апломбом мастера, грамотея, разбирающегося в проблеме. Со стороны казалось, каков тот Черпаков уникален – дока во всем и вся, за что не зацепись умом. Но ничего своего – всё заимствованное. Когда разглагольствующий ветеринар сильно завирался в вопросах анатомического строения тела, либо в аспектах ментального расстройства и тонкостях сахарного мочеизнурения профессор Евсиков осекал его предостерегающим «коллега?». Док как будто бы давился, сжевывал слово, проглатывал, но, в секунду оправившись, уверенно и безапелляционно принимался развивать тему засолки луховицкого огурца без кипячения воды. На процессах соления и маринования профессорское внимание обычно рассеивалось. Но стоило стремительно терявшему интерес общества Черпакову вернуться к академическим темам, как его вновь настигало деликатное профессорское: «коллега?»

Док из тех людей, какие, кажется, позвякивают при ходьбе. При взгляде на них сперва замечаешь массивную цепочку от часов, брелоки у пояса, выдающиеся запонки, перстень-печатку во всю фалангу, а потом ищешь шпоры на туфлях; их наверняка нет, но ты ищешь. Кажется у подобных персонажей в кармане жилета припрятаны вещицы на разные случаи и ситуации. Понадобись вам сейчас секундомер, увеличительное стекло, транспортир, компас, пилочка для ногтей, ножницы или пинцет – они непременно отыщутся у Черпакова. Такие люди любезной угодливостью и всегдашней пригодаемостью обществу доказывают в первую очередь себе и миру великую их полезность, пряча при том болезненную ненужность кому-то одному, близкому. Док умел перемещаться за спинами сидящих так, что цепко держал внимание; собравшиеся у стола вынужденно крутили головами, выворачивали шеи. При выдающейся худосочности и вертлявости вещал поставленным голосом псаломщика, владея полной октавой, снижая регистр от басов до вкрадчивого шепота. Хотя в церковь заходил лишь послушать хоры и раз в год на Пасху непременно в храм Христа Спасителя, непременно на Собинова с Шалыпиным. Знаменитые тенор и бас выдавливали слезу у публики своим невероятным исполнением «Чертог твой вижду, Спаситель». Ораторствуя, Док на ходу поглаживал лысый череп с разными мочками ушей – отвислой и приплюснутой, как будто заранее внутри себя изумлялся, готовясь изумить публику. Мягко скользил меж кресел, вкрадчиво шепча и нагнетая, потирал холеные руки, оберегая их словно тапер, а не коновал. Любил наклоняться к уху собеседника и с придыханием сообщать свежую апокалипсическую новость. В паузе громко хрустел суставами пальцев, с щелчком вправляя их на место, эпатируя и смущая дам, раздражая мужчин. Потом заглядывал в глаза, ожидая *резонанс*, и едва не стонал вслух от наслаждения, получив ожидаемое. Иной раз допускал кабацкий анекдотец, скабресную шутку, пошловатый намёк, за что его в здешнем обществе недолюбливали, но прощали как вычурному, испорченному, болезному.

Черпакова терпели на несходстве, в сравнении; как терпят грешника, антитетичного праведным началам, мнимым каждым в самом себе. Наслушавшись черпаковских баек о похождениях и обширных связях с растрёпанными женщинами, за ним вполне могли предположить какую-нибудь дурную болезнь. За Черпаковым знали и скверную манеру «ходить в люди». А он и не скрывал, что регулярно столуется вне дома: по понедельникам у Колчиных, по вторникам у Вашутиных, по четвергам у Евсиковых, пропуская постные среды и пятницы, никак не привлекавшие его. Евсиковы терпели вертлявого даже не за осведомленность, а скорее по традициям сложившегося «четвергового» гостеприимства, из смущения отказать от дома, не помня, когда он вынырнул впервые, и временами недоумевая, как такой человек вообще мог появиться у них.

– Старовер нынче не тот пошел-с, поиздержался, – обратился Черпаков к хозяину. – Ещё век назад не сидеть бы нам за одним столом. Самая большая благодать – кружку воды вынесли бы Вы мне в переднюю, да и то расхожую, с трещинкой, поплоше, никак не из парадного сервизу. Кисельку б не поднесли. Да и утереться дали б полотенцем для пришлых.

– Знаете, у нас ведь принято друг другу тыкать. Христу тыкаем! А батюшкой попа называете, такой краковяк заплещете! – профессор отвернулся от Черпакова, покосился на другого гостя, сидящего в нише, и протянул супруге чашку – подлить кипятку.

За самоваром чаевничали гости Евсиковых: супруги Лантратовы и управляющий Алексеевской насосной станцией – Николай Николаевич Колчин. В нише на диване уединился протоиерей Перминов – настоятель храма Илии Пророка в Алексеевой слободе. Он с трудом сносил общество Черпакова, потому вынужденно до чая отсел от стола. Подвесная люстра высвечивала острые коленки под рясой и сомкнутые в замок руки поверх, оставляя лицо священника в тени. У настоятеля были умные руки с удивительно правильной формы длинными пальцами, выдающими породу, со сморщенной кожей, указывающей на возраст человека в годах. Настоятель время от времени похлопывал себя по правому карману, проверяя, на месте ли фарфоровая куколка-младенчик. Нащупав, возвращал руки в спокойное положение. И никто со стороны не мог подметить невероятное волнение, переполнявшее его.

Сын Лантратовых – учащийся Набилковского пансиона – возле этажерки листал журнал «Русский архив патологии», вчитываясь в малопонятные термины. *«Monstra aserphala – уроды, у которых совсем или почти совсем недостает черепа или верхней части головы. Есть уроды, которые состоят из одного кожного мешка с костями и жиром».*

Из-за портьер на входе в гостиную его вызывал знаками однокашник – Костя Евс, сын хозяев дома. Лаврик будто бы не замечал сигналов Евса и делал вид, что интересуется журналом; на самом деле вслушивался в разговор взрослых.

После студня, запеченной утки и гусяного паштета напились чаю с кулебякой; ждали разговоров.

– Очисти меня иссоповым мёдом, – громко, на манер молитвы гнусавил Черпаков, смачно прихлёбывая чай.

– Нынче гречишный, – улыбочиво поправляла его хозяйка.

– Все-то у нас нельзя. Все-то под запретом. Кондовое вероисповедание. Охранительное, – профессор Евсиков развернулся в полкорпуса к протоиерею, отодвигая в сердцах блюдо с мёдом. – Да будет вам известно, мы с нашим старообрядчеством потеряли русский народ!

– Это про какой же народ? Хапуга – народец-то, сквалыга, Христопродавец. – Колчин ждал именно ответа священника. – А потеряли, потому что закрылись и разъяснять перестали: какая вера из начал вышла. Что, вероятно не согласитесь, Ваше преподобие?

– Не так линейно, Николай Николаич, – отозвался из полутьмы ниши священник. – Но я не настроен сегодня на споры. Тяжелый день выдался.

– Его преподобие, о. Антоний, устали-с, – Черпаков будто бы поддержал отказ священника вступать в беседу, но в голосе слышалось едва скрываемое ехидство, – не станем наста-

ивать. Лучше послушайте, о чем нынче в городе говорят. Восхитительные слухи! Вот, к примеру, Саламонский...

– Директор цирка? – перебил Колчин, – так он скончался.

– Преставился. А по завещанию всё свое имущество отписал горничной жены, каково?

– Это как же?! – откликнулась хозяйка – Да разве же так можно?

– Или вот ещё новость. Старообрядцы кузнецовские бастуют в Твери. А их оправдывают лучшие столичные адвокаты – за вознаграждение-с. Шубинский, например.

– Стеклодувы на стачке? – поинтересовался Лантратов.

– Так и есть: фарфор-фаянс, – подтвердил Черпаков.

– Матвей Сидорович в свое время распустил работников.

– Да, вот ведь человек масштабный. И посуду небьющуюся выдумал, и площадки гимнастические соорудил, и классы рисовальные. В той же Твери сад Ботанический открыл.

– А футбол?

– Что футбол?

– Его работнички с англичанами в футбол играли?

– Путаете, футбольное поле Морозов своим ткачам устроил.

– Где такое видано, чтоб староверы в трусах за мячом бегали?

– Забаловали, забаловали своих бородачей. Они теперь и фордыбачат, – Черпаков двинулся от Лантратовых по кругу. – Но каково Вам вероломство Шубинского? Капиталист, конезаводчик. В один беговой день с ипподрома под миллион имеет. А забастовку обеляет-с. И бузотёров на Морозовской стачке от суда отвёл, и теперь вот-с, обеляет.

– Ну, хватили, – возмутился Лантратов, – миллион одним днем!

– Приврал, приврал, каюсь. Хотя самому адвокату не до лошадок. Павлинов-то у него жену увел, актрису.

– Сафо? – воскликнула Лантратова.

– Профессор Павлинов? Не может быть. Вечно Вы, Черпаков, притащите какие-то забобны, – возмутился Евсиков-старший.

– Помилуйте, Леонтий Петрович, я не лансирую. Что я, половой, пульки отливать? Новость, как свежайшая осетрина из Елисеевского. Этот специалист по женской истерии увел чужую жену, да ещё приму сезона, вот вам крест.

Черпаков оглядел присутствующих и сделал в воздухе маховое движение.

– Вы же вероотметчик, – поддел Колчин, – чего ж осеняетесь?

Черпаков сморщил гримасу Пьеро – не верят, гнушаются. Но тут же вспомнив что-то, сменил Пьеро на Арлекино, продолжил:

– Вот, что значит, связываться с актрисульками! Не доверяю я опереточным и балетным, драматические порядочней будут. И, тем не менее, тем не менее.

– Батенька, да Вы разбираетесь в искусстве!

Черпаков спустил издёвку профессору.

– Лаврик, отыщи Котю, – мать постаралась отправить сына из гостиной, спохватившись: не те разговоры пошли.

– Гимназистикам баиньки, баиньки, – Черпаков хотел было погладить мальчишку по макушке, но осёкся под его взглядом и склонился, паясничая, в полупоклоне, вытянув руки в сторону, как коридорный. – Вот так на меня в Иловле глядел лисенок-корсак. Мамку его подстрелили.

Мальчик, прихватив скрученный в трубочку журнал, тотчас вышел и за портьерами попал в объятия Евса. Костик горячился и оттого заикался: «Ввы что, Лантратов, ослепли? «Дамские язычки» ххотите?». Лаврик рассеянно мотает головой. Из-за портьеры не так удобно наблюдать за взрослыми, хочется дослушать разговор. Но Костику все же удастся отвлечь Лавра: «С ликером не ббудете?!». Лавр берет конфету и протягивает статью: «Котька, про аке-

фалы знаешь?». «Безглавые?». «Павлинов – автор!». «И что с того, что Павлинов?» «Его застрелят». «Где?». «На скачках». «Когда?!». «Скоро». «За что?». «За даму сердца». «Допустим. Но я полюбопытнее смогу сообщить, Лантратов! Пятницкое кладбище знаете?». «У Крестовской заставы?». «Там захоронен...». «Безглавый?!» «Нет, одна голова, понимаете?» «Не может быть». «А вот и может. Про китайских боксеров слышали?». «Чепуха какая-то». «Пойти туда завтра ночью не забойтесь?». «Пойдёмте».

– Говорят, та актриса необыкновенно талантлива и красива, – Лантратова взглянула на мужа через стол.

– Сафо? На любителя-с, – со знанием дела тут же отозвался Черпаков.

– И обыкновенно несчастна, как может быть попросту несчастен кто-нибудь из ее поклонников с галерки, – Лантратов выдержал взгляд супруги.

– Шубинский, Шубинский, не тот ли, что почтаря Кетхудова оправдал? Вора и безбожника? – засмеялся Колчин, – раскатистое дельце вышло. Почтарь ободрал купца Кнопа и подлог укрыв. А адвоката обвиняли в словоблудии – в его профессиональном амбула. Не потешно ли?

– Возшли грешники, как трава. Слепцы, проходящие, как деревья, – глухо из ниши вступил о. Антоний. – Падет некрещеная Русь.

Непонятно, кого именно осудил духовник. Или всех сразу. Разговор прервался. Пауза затягивалась.

– Роман Антонович, как известно, я тоже старой веры, – ворчливо начал Колчин. – Но нынешнему дню совершенно непонятен наш брат, старообрядец. Поминает какого-то Зилу, пришедшего в Халкопратию тысячу лет назад и тому подобные легенды. Никто не помнит в обществе, о чём речь. Да и как вот мне самому балансировать между мирским и церковным? Для конторы я слишком набожный, слишком русский. Даже прозвище дали – гусяр. А в храме – слишком светский. Ни тем, ни другим не ко двору. С собою спорю. Себе – чужой.

– Я не настроен сегодня на диспуты, Николай Николаевич, – повторил протоирей Перминов. – День труден вышел. Напрасно и беспокоил дорогих хозяев присутствием. Прощайте. Спаси Христос!

– Сами спасёмся, сами, без угрюмого старика с деляшки.

«От столетий, от книг, от видений

Эти губы, и клятвы, и ложь.

И не знаем мы, полночь ли, день ли,

Если звезды обуглены сплошь.

В мире встанет ли новый Агтила,

Божий бич,

Божий меч, —

потоптать...»

Ёрничество Черпакова достигало спины священника, тот слышал декламации, да лишь ссутулился и поспешил выйти, держась за правый карман. Хозяин дома поморщился от грубых подначек, как от разыгравшейся изжоги, но не одёрнул шута: сам так сам, пусть сам и спасается «Док», в конце концов.

Перминову захотелось пройти пешком, хотя полагалось бы взять извозчика. Да что тут пути-то, с полквартиры, пренебрёг условностями. В темноте не разобрать, по улице будто шел не сановитый жрец, ещё утром блиставший золотыми прошивами риз на амвоне, не степенный чёрный монах, а мещанин Перминов, человек Божий, согбенный своей заботой. И всё же дар движения, жестов выдавал принадлежность к сану, положению. Шёл и в мыслях пикировался с Колчиным. «Ответ тут прост. Мирской, безбожник, искусит тебя: откажись от своего Бога.

Здесь ты не станешь искать совета? Так что же? Разве не о том же спрашиваешь теперь ты сам?».

Ни один человек не повстречался на пути. Скорым шагом прошел мимо остывшей церкви к дому причта. Обрадовался, ни с кем не столкнувшись на входе и лестнице. Затворил засов в своей половине. Встал на колени перед иконостасом и заплакал. Лампада ровно горела, не сбиваясь.

В доме Евсиковых вскоре и остальные гости распрощались. Расходились по домам под накрапывающим дождиком и навалившимся ветром. Колчин взял извозчика до Второй Мещанской. Лантратовым и Черпакову по пути: чете с сыном горку перейти, а Черпакову дальше, в сторону Катенькиного акведука, в Леонову пустошь, но у парадного раскланялись и повернули в разные стороны. Отойдя шага три, Черпаков запнулся, обернувшись и размахивая бессменным саквояжем, бросил в темноту: «А война-то будет?».

Кухарка Евсиковых захлопнула двери.

День кончился.

На следующий день пробудился ото сна Роман Антонович затемно, часа в четыре с четвертью. Сел в постели, за бороду схватил себя. На месте борода-то. Сердце стучало яростно. Исподнее наскрозь мокрое, остывая, липнет к телу. Жара нет, а лоб в испарине. В комнате прохладно. Сон испугал до поту. Помолился темному углу. Елейник ночью угас. Не дело. Надо маслица подлить. Зажёт свечу, умылся, гремя рукойником и знобясь от ледяной воды. Облачился в подрясник, рясу, и камилавку, вышел на воздух.

Тихо. Зябко на крылечке. Первые заморозки, ранние. Темнота, масляная и густая в глубине двора, медленно теряла свою плотность над крышами. Птицы еще не пробудились. Да и собак не слышать. В храме уже трепетали огни малые, должно быть, протодиакон озаботился. Глядишь на светлячки трепещущие, и даже издали тепло делается. Тут же пришло на ум, что за человек дьяк Лексей Лексеич – блаженная душа, при такой-то простоте взглядов и искренности, заложена во всех словах его и поступках редкая порядочность и глубина.

В доме причта ещё все окна черные. Скоро к заутрене, а клирошане не поднялись. По тропинке кто-то семенит к церкви. Остановился, да перешагнул широко – знает про канавку; осторожничают, стало быть, свой. В канавке тонкой лентой залегла Таракановка, бьет ключиком.

– Христос воскрес! Не спится?

– Воистину. Что, Лексей Лексеич, домой возвращался?

– Только что из дому. А ты, о. Антоний, отчего так рано?

– Как из дому?! А кто же в храме лампы зажег?

– Да кому же зажигать? Ключи-то у меня. Да у Калины-сторожа, так тот спит, должно ещё.

– Погоди, Лексей. Как же?! Идем!

Когда ближе к храму подошли, оба разобрали тихое пение. Контральто будто издали, будто эхом. *«Иже Херувими тайно образующе, животворящей Троице трисвятую песнь приносяще, всяку ныне житейскую отвержем печаль, Яко Царя всех подъяемлюще, ангельскими невидимо дароносима чиньми»*. Приближаешься, а оно отходит. Замерли. *«Иже Херувими...»*. Удаляется. А окна церкви темные, ни огонька, ни отблеска. Забрались на приступок, в черноту проёма уставились – мрак непроглядный. Запертый храм в предутренней мгле стоял холодным, остывшим с вечера.

– Где же?! Почудились огни?

– Да входящие свет увидят...

– А слышать-то слышал?

– Слышал. Ноги подломило.

– Красиво!

- Вообразить себе не можно как! А как же там-то будет? Как же там-то?!
- Чудны дела Господни. И к тому же сон нынешний... Лексей, слушай! Взбудораживший сон потряс меня своей пронзительной ясностью, будто бы наяву.
- Что за сон?
- Не решусь.
- Слезай, отец, не то Калина задаст нам, по окнам-то лазать.
- Начётчик-то? И то правда, задаст.
- Сторож, а учить любит.
- Ну, отворяй сам, Лексей, утро сходит. Что у нас нынче?
- После заутрени ребеночка крестить принесут. А там и покойница прибудет. Отпевание.
- Отпоём, чего ж не отпеть.
- Сомнения берут.
- Щепотница?!
- Что ты? Нашей веры, да не нашего прихода. И сказывала родня её, не наемни причащалась. Сподобится ли погребению?
- Сомневаешься?
- Сомневаюсь, да принимаю. По твоему слову пусть будет, о. Антоний.
- Я что? По воле Божьей.

И вот уже сторож в дверях, кланяющийся почти до земли, зорко оглядывающий храм, как ворон поляну черным оком. Прошел, в приходных поклонах склонился кудрявой смоляной головою налево, направо, потом Николаю Угоднику, Матушке-Элеусе, Спасу-Эммануилу, со святыми поздоровался.

- Ты, куда ж, Калина, запропал нынче, – протодиакон с упреком обратился к вошедшему.
- Лексей Лексеич, не порядок, чуть не светать уж начало, а тебя нет, сынков твоих тоже, бока всё мнут. Думал и службу нынче проспите. Не порядок!
- Вот ведь характер-то у тебя. Сам отлучился, а тычет в ответ.
- Никуда не отлучался. На месте был. Двери давно отпер, да вас не заметил, как вошли.
- Ты двери отпер?!
- А то кто же?
- А Херувимскую слышал? А светляки по всему храму?
- В толк не возьму, о чём ты? Херувимской рановато, а елейники твои ленивцы зажгут, как выпустся.

Протодиакон и спорить не стал, успел настоятелю шепнуть:

– Не допустил Господь сторожа к чуду-то. Выхрестень.

И действие зачалось. Единение природы, Бога и человека.

На полумрак цоколя цедился с купола едва брезжащий свет. И тишина стояла не растревоженной. И первые свечи затрепетали. Слабые лампы напитывались маслом. Две фигуры, отбрасывающие хлопотливые тени, неспешно, без лишней суеты двигались по храму, зная дело. И казалось, встает Древняя Русь, полутемная, деревянная, вековая. Будто лучинами озарены лики старозаветные по углам и на ярусе. Отблески мира византийского. И скорые шаги опоздавших, заспанных просфорника, да псаломщика с алтарником. И первые осторожные звуки, ещё до прихода паствы. Потом всё больше свечей, шагов, теней, крестных знамений и приходных поклонов. И свете тихий. И божественный огонь литургии, приподнимающей над землю. Мужские песнопения как трубный клич. Самозабвение в молитве.

После службы младенчика крестили узким кругом, светло и благостно. Мальчик попался спокойный, радостно принимающий от взрослых причиняемое добро. Умильно взглядывал на родню, суетливо толпившуюся возле купели, таких разных, но схожих, и улыбался. Терпеливо принял троекратное погружение и с видимым удовольствием переходил из рук крестной

матери к отцу крестному. И общий вздох ликующий: «Еще одного христианина в миру было».

Вот только тот умильный бутуз и отвлек на время настоятеля от саднящей на сердце печали. Пока после обедни ожидали покойницу, Роман Антонович всё вспоминал ночной сон, апокалиптический, провидческий, вещный.

Страшный сон. Предупредительный. Как будто наверху готовится что-то решительное, должно скоро или теперь произойти. Будто ехал он в поезде. Укладывался спать. Остался в исподнем и босиком. Хватя себя за подбородок, а борода будто сбрита. И такой стыд охватил: какой конфуз, срам какой, оскобленным на людях показаться. Ночь черная. Всполохи грозовые, выхватывающие из тьмы профиль рогатый и носатый на фоне зарниц. И видел, параллельно идущий состав ведет козел, стоящий на двух копытах в полный рост, и у того-то борода клинышком длиннющая. И козел его видел и, оглядываясь, всё бляял, прибавлял ходу, соперничая. Поезда их шли вровень. И вот-вот пути пересекутся на скорости. От страха Роман Антонович закрыл глаза. А открывает, напротив сидит дама, скрестив на коленях легкие красивые руки. Лицо скрывают тени широкополой шляпы и верхней полки. По рукам он узнаёт свою Лиленьку. Передумала и едет с ним? И как она в купе попала? И билет-то порвала на его глазах. А взгляд ниже опускает и видит, из-под края узкой юбки копыта козлиные торчат. И заметив гримасу на его лице Лиленька поднимает голову, а под шляпой рожа с бороденкой клинышком. А в окне тем же курсом мчится второй состав, его никто не ведет уже, поезд и без машиниста осатанело несется. И тут ему становится так холодно, как бывает, должно быть, под смертным саваном. И воротив взгляд от окна понимает, купе его вовсе и не купе. А сидит он в исподнем на лавочке возле дома фарфорозаводчика Кузнецова на Первой Мещанской. И смотрит на двух голых юношей на фронтоне – атлантов, согнувшихся под тяжестью провисающего неба. Часы на башне Сухаревой и в его ладони часы-луковица встали. Их стрелки застыли на одиннадцати с четвертью. Он поднимается, чтобы уйти. Но оборачивается и потрясен тем, как один из каменных исполинов покидает стену дома и идет за ним, а в руках у того крупные белые лилии. Лилии, лилии. Бежит, запыхавшись, боясь оглядываться. Оглянувшись, издали замечает на фасаде снова двоих атлантов, как и положено. А цветы с бутонами-граммофончиками ползут по следу, будто черви. Когда выбегает на площадь, глядит, как рушится Сухарева башня, как взлетает на воздух предел колокольни Рождества Христова в Рогожке и как безглазый собор Александра Невского на Миусе видимо глазу прорастает травой. И все двадцать одна его главка без крестов стоят. Тут в собор верхом на коне с красной попоной въезжает козел и блеет, и погоняет, и топчет лошадиными копытами волчью ягоду, калину, бруснику, клюкву и гроздь рябины. Течет красный сок по досочкам. А посреди церкви на полу сидит девушка в шляпе. Лица не увидеть, ноги по-китайски под себя поджаты, а в ногах у неё шар, как глобус. И красивые легкие руки крутят глобус. Приглядевшись, понимает: в руках девичьих вращается волчком голова китайца. А девушка в шляпе поднимает свое лицо... Его пробирает дрожь. Вот сейчас снова достанет до пещенок козлиный проникающий взгляд. Но так живо и приветливо смотрит на него родное лицо. Он узнает свою невесту, какую не видел добрый десяток лет.

И просыпается. Сидит в кресле.

– Непременно сегодня нанести визит Верховским. Повидать Лилию.

Страстно захотелось видеть свою первую любовь. Впрочем-то, единственную любовь за прошедшие четверть века с их первой встречи. А страсти-то за собой и не подозревал. И бесстрастием собственным тешился. И цедил его, и лелеял. И казалось, за годы служения приблизился к Отцу Миров, к истинному пониманию. Теперь осознание собственного недостойнства так больно пронзило. *«Пресвятая Владычице отжени хульная помышления от окаянного моего сердца и погаси пламень страстей моих, и избави мя от многих и лютых воспоминаний».*

– Привезли, однако.

– Что привезли, Лексей?

– Роман Антонович, задремал ты? Покойницу, говорю, привезли.
У гроба стояли старушка и ребенок.

Преставившейся надели венчик на лоб, вложили в руки свечу. Погребальное одеяние скромное, да гробик дешёвый, обитый тонкой коричневой материей. Без заказной плакальщицы. Так и лучше без них, бессмысленные ненужные бабы. Протодиакон спросил у старушки имя новопреставленной.

– Лилией касатушку звали.

– Нету у нас такого имени. Крещена-то как?

– Лилия и Лилия. Почем мне знать? Хозяйка квартиры я, не родня.

– Лукия она, светлая. Лукией крестили, – настоятель неотрывно смотрел на руки покойницы, не замечая изумления дьякона и алтарника своему осипшему голосу и переменившимся чертам лица.

Обряд провели должным порядком, сдержанно-торжественно, сугубо точно полагающемуся случаю. Когда закончили, как обычно и бывало, нашли облегчение в завершении неподъемного дела. Задали старушке простые вопросы: как случилось и отчего. Справились о судьбе мальчика. Мальчик игрался с китайской куколкой, за спиной у неё в капюшоне сидел фарфоровый младенец. Старушка оказалась одинокой и, привязавшись к дитю за год, не собиралась никому отдавать Анатолия. О матери его знала мало. С той связана странная история. В Китае погиб брат Виктор. Лилия вопреки здравому смыслу и запрету родителей в одиночку отправилась в долгую опасную поездку за телом брата. Вернувшись через полтора года, она привезла останки Виктора и крикливого грудного младенца привезла. Родители к тому времени преставились. Ушли один за другим, видать, не вынеся горя потери двоих детей разом: слышали, из Китая не возвращаются. Дело семейное пошло прахом и к возвращению наследницы пришло в полный упадок. Останки брата – инженера путей сообщения – отпели и захоронили на Пятницком погосте, где именно, старушке неведомо. Дом Верховских отдали за долги. Потом его выкупил дальний родственник Верховских. Лилия, не захотев жить у незнакомого ей сродника, с ребенком подалась на квартиры; неподалеку, за Черкасскими огородами, взяла комнату в наём. И весь год мальчик рос, креп, вставал на ноги, а мать его хворала и хирела. Хозяйка решила, исподволь точит жиличку азиатская болезнь. На докторов денег не имелось. Сгорела за год. Отошла. Но отпевать её просила непременно в храме Илии Пророка в Алексеевой слободе. Вот воля покойницы нынче и исполнена.

Какие нелепые вопросы, ненужное недоумение: как и отчего случилось. Невозможно трудно принять на них ответы. Они одолеют тебя и изведут своею обвинительностью: где же ты был, имярек, что сделал? Со временем не всё узнается. Много не узнается никогда, ведомое перемешано с неведомым и непостижимым. Смерть – полнейшая иллюзия. Смерть – потеря места своего. Мир наполнен неожиданным, поворотным, непрекращающимся. Жизнь указывает на извлечение случайностей из твёрдо прописанных законов. Не все прочитывают их и придают значение. Не верят в то, что делается всё само собой, волею одного Спасителя Мира. Начало самотворящее, вездесущее, всевластное и бесконечно великое присутствует незримо, невидимо до неощутимости для ничтожной точки «имярек». Твое существо приспособлено к мгновенному бытию и мгновенному исчезновению. А фантастический мир будет длиться, переливаться, искриться в своей сверхжизни, невмещаемой в твою.

Отец Антоний у могилки переждал всех: и Лексей Лексееич ушел с сыновьями, и могильщики собрали заступы с лопатами, и старушка увела мальчика. За спиной в арке кладбищенских ворот долго гремел связкой ключей сторож. Да и того терпение иссякло, помчал в трапезную на поминальный обед. Роман Антонович остался один. Повалиться на земельку и поплакать над новопреставленной, как принято у простых людей. Разрыдаться и броситься к рукам её, целовать, целовать горячо. Просить прощения. И потом последний поцелуй – торжественный – в венчик на лбу. И последний поклон. А тут и плакать некому над покойницей и

ему не положено, не пристало. Даже прощания лишён. *«Вот не шли мы друг к другу. А теперь ты пришла. Обвили тебя лентой белой, сплели. Прости меня. И я прощаю. Аще возымеешь дерзновение ко Господу, помолись о мне грешнем»*. Лишь позволил себе постоять больше обычного у холмика с надломленным кусточком срезанных белых лилий. И откуда букет взялся? На насыпи приметил цветную тряпочку. Похоже, тот мальчик обронил фарфорового младенчика...

Лиленька всегда оставалась строптива, дерзка, невмещаема в рамки привычного. Он, будучи старше лет на пятнадцать, в ней, юной и страстной, ощущал избыточность, излишек всего. *«Не годится в попадьи»*. Их первая любовь – скорее компромисс, смесь натиска, уступок и капитуляций. Оба они увлечены, но Лиленька предпочитала спонтанные решения, а Роман – взвешенные. Она не умела ждать, он разумно осторожничал. Прислушивался. Не желал связывать. Ничем. Потому что в себе находил зов такой силы, природы какой не мог объяснить ни в юности, ни потом с возрастом, полностью подчинившись. Девушка настаивала, не оглядываясь на приличия, искала близости, звала себя его невестой. А он видел крайности сумасбродной натуры: стали бы близки, потеряла бы интерес. И потому с позиции старшего он внушал ей тщетность надуманных желаний. Объясняться с Романом Перминовым приходил Виктор Верховской. Но выслушав «жениха», узнав о его стезе, брат сам велел сестре отступить. Лиля злилась, обвиняла в предательстве, когда Роман бежал из столицы в Москву. Он звал её с собой, но так робко, так ненастойчиво, что выдавал свою неуверенность. Со временем и Лиля перебралась с родителями в московскую усадьбу. Первое время он со стороны, через дальних знакомых, наблюдал за семейством Верховских, но больше за всю жизнь не сделал ни одной попытки к сближению. Потом и вовсе мирские годы отошли на задний план, затушевались. Кому же знать, сколько любви за годы служения о. Антоний отдавал венчающимся парам, всякий раз невольно представляя на месте жениха и невесты Романа и Лукию.

Теперь душа чистая узрит Бога. Там. А здесь будут идти чьи-то венчания, крестины, роды, войны, эпидемии, здесь пройдет череда необратимых событий, череда непоправимостей, что, в сущности, и есть жизнь, будет неминуемо наступать старость, здесь аскетизм выест эмоции, но память о глазах испытующих и имени светлом не угаснет. И впервые на ум пришло, а свою ли жизнь прожил? Не зря ли сан принял.

Ну вот оно козлиное, лукавое, искушающее – настигло, догнало с дороги сбить, спутать. Ты избрал тяжкий путь, ты встаешь над душами чад своих, ты – проводник воли Божьей, и ты же – человечиска с собственным несовершенством. Букашка. Вошь. Ты трудишься над душою, истязаяешь за всякую дурную, поганую мысль, а за твоей спиной кто-то дико смеется, неизменно дико смеется. Тебе давно уже страшно от того смеха, а кто-то всё смеется.

Навалившаяся растерянность гнала от церкви. Он не мог позволить себе войти в храм *таким*, в смешении чувств не мог служить. Поднялся в комнаты. Но здесь совсем невыносимо оставаться. Переоделся. Взял извозчика и отправился в дом, где мог просидеть весь вечер молча, не открываясь, и быть понят. Сегодня четверг, значит, у Евсиковых дают званый обед.

2

Связывать и разрешать 1915-й год

«Алавар! Алавар!».

Ему одному не спалось в сонном вагоне. Лежа на верхней полке купейного, Лаврик размышлял над тем, что сказал отец о непрочности сущего: среди нынешней скорби жизнь смиловстивилась, дала малую толику радости и тут же захотела отобрать. Что он имел в виду? Блеснувшая радость – это, вероятно, встреча с роднёй. А отобрать... это про случившееся на перроне?

Война шла почти год.

Грозилась поглотить целиком, без остатка существовавшую размеренность и понятность довоенной жизни. И все же гибельной она виделась для кого-то другого, для каких-то других, а тебя, твоих, казалось, не затронет. Война шла где-то далеко. Война – это что-то *там* на горизонте, серое на белом фоне рассвета, всполохи, дальние зарева, не достающие до твоих мятных восходов и закатов *здесь*.

Родители внезапно решились на отъезд в Лифляндию. Их зазывали братья на кузнецовское производство: Матвей Сидорович когда-то затеял в Риге очередной свой заводик и собирал общину из своих, старой веры, работников. Старшие Лантратовы, прежде выписанные на фарфоровое дело, как толковые химики, обустроились под Ригой. Без братьев младшим Лантратовым стало скучно и пусто в слободке, тянуло к своим. Дело в Москве не держало. Отец – известный иконостасчик – занимался реставрацией алтарей, киотов, редких икон. А клиентура, что же: где храм там и работа, а руки всегда при тебе, при деле.

Пока размышляли и сомневались об отъезде, время шло пассажирским, а как решились – понеслось экспрессом. Лавр обрадовался приключениям и не понимал грустной встревоженности отца с матерью. Сборы проходили в спешке; взрослые поторапливались, будто боялись передумать. Спешно рассчитали прислугу. Распрощались со знакомыми. С собой много не брали. Условились, прежде устроиться, а после вернуться одному главе семейства за оставленным скарбом, упорядочить дела и документы. В худшее не верилось: им, убывающим последними из большой семьи, казалось, уезжают на время. На прощание осенили дом крестным знаменем, как заклинательным знаком: стой пустой, жизнь дождись.

И вот радости новых мест Лаврик чуть было не лишился по собственной вине. И даже большего чуть непоправимо не лишился, что и представлять теперь страшно. Сегодняшний случай на Виндавском вокзале он заберет в свою «коллекцию происшествий». Собрание насчитывало уже две опасности, угрожающих его невеликой жизни: когда в четыре года едва перенес тяжёлый приступ малярии и когда его, пятилетнего, увела с церковного двора душевнобольная Вася-Василиса. Тогда в своей хибарке тётенька вырезала с Лавриком фигурки из бумаги: собаку, попу, черта, блоху, скорпиона. Лицо тётеньки показалось мальчику знакомо, он с удовольствием играл в бумажный театр. Лишь удивлялся, когда Вася принялась резать и скатерть, и газету, и салфетки, и юбку, и штанишки Лаврика, и матроску. Но Лаврик не успел испугаться, потому что Вася объявила: мальчик ей надоел и отвела его на то место, где прежде забрала. Полиция искал ребенка по двум слободам: Алексеевой и Мещанской. Родители трое суток оставались на ногах. А мальчик как внезапно пропал у храма, так внезапно и объявился там же, на храмовом кладбище. И свято верил, помогло ему волшебное слово: «Алавар!» из доброй сказки молочной матери Улиты.

А от малярии странно тогда излечился, теперь понимает. Доктора и родители неотступно сидели у его постели, ждали переломного момента. А кризис всё не наступал, состояние ухудшалось. Лаврик выпросился в сад; постель его перенесли в беседку. Днём прошёл по-летнему

спорый ливень. И на фанерной стене внутри беседки расплывалось дождевое пятно. Лавр долго наблюдал, как пятно принимало очертания женщины, укрытой платком, подставляющей ладони дождю. Рядом дремала Улита. Он долго беззвучно звал её. И, едва разлепив губы, повторяя своё волшебное «Алавар, алавар», просил дождевой воды. Улита помчалась за матерью. Вместо матери пришёл отец и напоил из кружки, забытой под яблоней. Лавр выпил ту воду. В ночь прошёл кризис. Со следующего утра пошёл на поправку. А папа тогда так непонятно говорил, запомнилось: «В самом несчастье заключено спасение». И вот снова ситуация взяла над ним верх и бросила в такой водоворот, что либо разом научит, либо навеки погубит. Так глупо огорчить маму и отца: едва не потерялся. Попасть в чужую, неизвестную жизнь из своей, замечательной-замечательной жизни? Сгинуть в один час, вот так, учинишкой-промокашкой? Не встретиться больше с Евсом? А то, что неминуемо погиб бы, потерявшись, не сомневался.

На перроне вокзала творилось что-то невообразимое: море голов, суета, тычки в спину и грудь, крики, свистки, хрип пьяных глоток, ржание коней – какофония исхода. Навстречу отъезжающим, пихаясь, напролом шла толпа раненых с санитарного поезда. Солдаты в выжженной едким солнцем и солёным потом форме, с пыльными угрюмыми лицами, с глазами каликов переходящих брели ближе ко входу в вокзальное здание и к концу перрона. Конечности их наспех перемотаны грязными бинтами, повязки сбились и раны кровоточили, где алой, где бурой кровцой. Между служивыми металась, кружась на месте, сестра милосердия в спаржевого цвета платье под белым замызганным фартуком с крупным вышитым крестом на груди. «Сестричка» пыталась на ходу поправлять сбившиеся повязки.

Где-то поблизости гремел литаврами и трубами духовой оркестр. И у перрона, мягко отдуваясь паром, пыхтел состав с вагонами первого, второго, третьего класса, общими и почтовым. Из-за пыльных пятен солдатского обмундирования вылезло и ослепило глаза золото офицерских погон, кантов и аксельбант. Мальчик упустил из виду ориентиры: незабудковую шляпку матери и котелок на курчавом затылке отца. Заметался вправо, влево, пробрался к краю перрона. Но солдаты напирали, не расступаясь. Навстречу валила неуправляемая хищная сила, напитанная мукой, злобой и чем-то непонятным, незнакомым, пугающим. Такую язвину тронь, погубит. Лавр крепче вцепился в саквояж, будто в спасительный круг, держащий на поверхности, и, чуть не плача, продирался вперед между горячих, липких мужских тел. Стоит выпустить порученную тебе вещь из рук, и рвется прочное. В торце перрона ему открылся полукруг военных музыкантов с дирижирующим прямо с земли капельмейстером и возле – высокий открытый экипаж с парой нервно подергивающих холками лошадей. В бричке сидела красивая дама и подавала знаки кружевным зонтиком кому-то в толпе. Возле нее на цыпочках тянулась, тоже кого-то высматривая, девочка в белом, как ландыш, платье, с зеленым пояском и зеленою лентой в косе из-под капора. Лаврик изо всех сил старался не дать ходу слезам: «Алавар! Алавар!». Видимо, прочитав отчаяние на лице мальчика, на вид ровесника дочери, дама знаками предложила ему забраться в их высокую коляску. И через несколько минут к экипажу с перрона, журя, уже спускался отец.

Едва устроились на своих местах в поезде, тотчас прильнули к тусклым стеклам вагонных окон смотреть на перрон с солдатами, на провожающих, оркестр, бричку, где офицер с седыми висками целовал даму под зонтиком и высоко поднимал девочку в ландышевом платье. Поезд неожиданно резко тронулся, дёрнул сцепкой, женщины в унисон ахнули, раздался марш «На сопках Манчжурии», заржали лошади в экипажах. Перрон удалялся, по-прежнему пестрея серым, алым, золотым, белым и всё не пустея. Отъезжающие осенялись крестным знаменем. Провожающие взмахивали платками и крестили уходящий состав.

Поезд оказался переполнен.

Но в купейном, как прежде, рассаживали согласно билетам. Окружающая нервозность, опасение потеряться навечно и бледные лица родителей, всё навалившееся, чередующееся

«туманными картинками» фантаскопа, взволновало мальчика. Он стыдился испуга. Папа утешал: «В жизни случаются моменты, когда суждено дрогнуть и сильному».

И вот всё же жив.

И рядом с родными.

И качается на полке купе-каюты.

И поезд мчит.

Благодарение Отцу Мироздан – не дал потеряться, оборвать прочное.

Благодарение Тебе, Отче, за вечный присмотр в бесчисленных не замечаемых опасностях.

Удаляясь от хаоса их поезд будто очухался, утихомирился, перестал дёргаться и задышал ровно. Несмотря на поездной уют, мерное покачивание состава, Лаврику долго не спалось. А едва задремал, как в купе вошла та самая дама из экипажа. Она подвела к его месту девочку. «Прими её». Лаврик хотел потесниться, но, вскочив, больно ударился головой о полку.

– Мама, где они? Ты прогнала их?

– Что с тобой?

– Где та женщина и девочка?

– Здесь никого нет. Спи, спи...

На чужбине быстро забылась суэта отъезда и хлопоты дороги. И дама, и девочка тоже забылись. Чередующиеся события, новые порядки и знакомства вытеснили их лица и те острые обстоятельства. Казалось, жизнь с начала войны есть скорый без расписания, меняющий маршрут по хаотично переводящимся стрелкам на перегонах. Приходилось ежедневно, ежедневно, едва привыкнув к наступившим переменам, принимать следующие наплывающие изменения едва устоявшейся жизни. Жизнь их как будто бы кто-то нанизал, а прострочить недосуг. Все стало наживным, временным: постель, ночлег, стол, дом.

Искали на чужбине мира и не нашли. Чужбине ли возместить родину?

Затмение.

Пустяшный прежде бытовой вопрос, вроде чистки зубов или где ополоснуться, вставал нынче невероятным затруднением. Приходилось принимать перемены на ходу, не сходя с поезда, не замедляя разлёта на остановках. От токов нервического воздуха, на скорости, происходило очищение лёгких, смена дыхания, но свежий ветер грозил стать удушающим.

В Лифляндии не заладилось.

Мир ожесточился, заболел войною. Может и вовсе неверный выбор сделан: не стоило поддаваться на уговоры и срывать с родных мест. Теперь Лантратовы старшие пытались наладить собственное фарфоровое производство; рижскому заводу Кузнецовых грозило банкротство. Но и в том не свезло. Кто разместился у тётки, кто мыкался по чужим углам, курсируя между Ригой и пригородом, в поисках подработки и средств проживания. Пришлось привыкать к чужой речи, чужим привычкам, чужому хлебу. Лавра отдали учиться гуманитарным наукам и искусству в Рижском политехническом институте. Кроме того, он осваивал ремесло у многочисленной родни в Айзпите: навыки столярного дела, переплётного, реставрации, бортничества. Химикам пришлось забыть о фарфоре и открыть кустарную артель по производству деревянных кукол-марионеток. Одноногие оловянные солдатики, принцессы, карлики, мальчик-с-пальчик, человек-медведь, ведьмы, видземские боги и волхвы неплохо расходились.

Лантратовский круг тесен и дружен. Но и его разомкнула беда. Нашествие Мойры и проклятия мёртвого подкатили быстрее к Риге, чем к Москве.

И почему первой ушла именно мама?

Неразрешимым вопросом Лавр и отец задавались, не делаясь друг с другом и умалчивая, и каждый предлагал свою жизнь Свету, лишь бы вернуть самую тонкую, самую незащищенную, скрепляющую их мир душу.

«Я любил её и в ней самой, и в тебе», – шептал отец, уткнувшись в плечо переросшего его сына. Отец содрогался всем телом, отвернувшись от свежей высокой насыпи, с какой могильщики, проваливаясь, забрасывали яму.

– Не надо, папа.

– Не буду, не буду. Не буду, не буду.

И продолжал трястись.

Через полгода здесь же, на погосте в Айзпуде, рыли вторую ямину: отца не стало.

Лифляндская земля не приветила родителей Лаврика живыми, а мёртвыми приняла.

Двадцатые сутки на колёсах.

Тряска-дрожь продлевала ощущение движения даже на долгих стоянках. Лавр, и сойдя на землю, продолжал дрожать всем телом Сироты взрослеют быстрее, так говорили дядья. И не сумели убедить остаться, спустя почти два года после смерти родителей младший Лантратов снова оказался в пути.

Теперь на попутках возвращался из Айзпуде домой, в Москву. Ехал на перекладных, в теплушках, на крышах, буферах разнокалиберных вагонов случайно подвернувшихся рейсов вне сетки. Ехал, вспоминая другую дорогу – их еще относительно упорядоченный отъезд из вздыбившейся страны, первый хаос.

Теперь за окном аккуратные лифляндские домики сменялись кривыми хибарами, ажурный штакетник – покосившимися плетнями с жердью вместо въездных ворот.

Теперь неслось время, люди, кони и эшелоны. Вагоны второго и третьего класса уравнились: везде одинаково нагажено, сорвана материя с сидений, стены разрисованы похабщиной. Нахлынула волна демобилизации, заливающая окрестности анархией и всеобщим скотством.

Теперь отпущенный на волю демобилизованный превратился в мешочника. Невозможно оказалось разобрать, кто под серой шинелькой: солдатик, крестьянин, спекулянт, мародёр или налётчик.

Теперь в поезде ехал свободный человек, стряхнувший с себя оковы империи, чесался, плевал, сморкался об пол, блевал, не утруждаясь долгими поисками отхожего места. За стенкой плацкарта судачили про баловавшую на «железке» солдатню: занимают землячеством вагоны и поворачивают весь состав в свою губернию.

Теперь каждый следующий день нёс в себе предчувствие последнего, остаточного, судного. Русский бег. Затмение.

Казалось, страна одним часом снялась с оседлых мест и вскочила «зайцем»-безбилетником на подножки порожняков. Стая гончих гнала зайцев русской равниной, без передышки, без снисхождения. Норовила загнать, прикусить за шею, с нахлынувшим зоологическим азартом трепать добычу в пасти, дожидаясь в овражке человека с ружьем. Вдоль всего пути топорщились поваленные столбы с обрезанными, словно нитки, проводами. Станционные домики у полустанков съёживались под свистками набегающих агитпоездов и воинских составов: чего ждать? Товарники пропускали спокойнее, махнув флажком: гони. Дрожала земля, дрожал воздух в мареве над полями.

Дрожали души.

Ветра гнали дым, слёзы.

Пашни горели, чадила солома, закрывая солнце закопченным стёклышком.

Затмение.

Бегут люди. Кто, куда, от чего... знают ли? Спасения ищут, находят гибель.

Лавр ехал налегке.

Собрали необходимое в котомку, каких нынче много на плечах беженцев. Тётки совали впрок и про запас, а он всё выкладывал и облегчал. И вышел прав. То бандиты, то мародеры

обирали пассажиров. На его тощий мешок никто не зарился, но на рост засматривались, оценивая: связываться ли. Разве что прикладом двинут: проваливай, оглобля. И не однажды подмывало повернуть обратно к дядьям под Ригу. Но вернуться назад сложнее, чем добраться теперь до столицы.

В начале пути кое-где по склонам оврагов и полям попадалась скотина: то коровёшек стадо, то коз, жмущихся, горстка. Где-то и овец разглядел, лежали овцы на склоне меловыми белыми камнями. Табунов лошадиных не видать, разобрали лошадок по отрядам, по армиям, по бандам.

Пассажиры попадались то говорливые, то будто немые, полумёртвые. Такие за сидор вцепятся и масками, слепками лиц в мир вперятся: умру, не отдам. И ведь умрут. От пули, либо от голода: что выбирать? Про такого скажешь, у последней черты человек, умереть готов за поклажу. В общем вагоне до Пскова наслушался всяких баек и правды о бедах людских. Одна старушка, напротив, поразила будничным тоном, с каким говорила пассажирам своего отсека об истории невероятной: «В поезде другом гуторили...сама-то не видала. Старичок один – священник сельский – на казнь пошел из-за своей паствы. Меня, говорит, одного заберите, а село не трогайте. Руки раскинул, как крылья – крестом и под саблю шагнул, улыбаясь. Будёновцы его и порубали. Сперва селу-то хоронить его не давали. Закоченел, руки раскидав. Ночью всё же упокоили. Так крестом и ушел в землю, да в небо».

Прежде жили крепко и дружно, без оглядки. И казалось, так – неизменно.

И вот прошло каких-то пять-шесть лет. Всего пять-шесть лет.

И вселенские перемены.

И затопило мир горем.

«И ангелы не успевают души принимать».

Насколько беда общая больше его беды. Разве не большинство сейчас несчастно? Такое время: счастливых не найти. Огромность горя ослепляла, вызывала чувство прижатости и не оставляла сил к сопротивлению. Кто он сам-то – человек желающий жить? Ему казалось, забыт всеми, как мёртвый, как шкурка марионетки на гвозде. Но как окружающим не заметить его рослой неуклюжести?

Где-то между Жужелицей и Лихославлем в теплушку, в какой он ехал вольготно вторые сутки один, под вечер втащили весомый груз и посадили двух женщин. Укаченный тряской Лаврик сперва не распознал, что подняли с земли гроб с покойником, а когда понял, изумился продуманности мира: вот почему один-то ехал, для покойника, значит, место требовалось. Вошедшим покидали две табуретки, два мешка. И поезд тронулся. Женщины молча кивнули парнишке, давай. Он расставил табуретки в ногах и под головой покойника. Не разговаривая между собою, подняли втроем непомерно тяжёлую ношу – должно быть, мужчина-мертвец. Пили воду из одной фляги, попеременно передавая друг другу. Одинаково перенесённым горем бледнели в полумраке лица женщин; пришла догадка – сёстры. Как совсем стемнело, зажгли свечу. Одна устроилась сидя спать, подложив под ноги вещи и обнявши гроб, другая, опустившись на коленях возле гроба, читала из Священного писания: *«Но некуда бежать или скрыться, потому что всё в смятении, и море, и суша... Множество золота и серебра и шёлковые одежды не принесут никому пользы во время сей скорби, но все люди будут называть блаженными мертвецов, преданных погребению прежде, чем пришла на землю эта великая скорбь. И золото, и серебро рассыпаны на улицах, и никто до них не касается, потому что всё омерзло – но все спешают бежать и скрыться, и негде им укрыться от скорби... Страх внутри, извне трепет; день и ночь трупы на улицах; зловоние на стогах, зловоние в домах, голод и жажда, глас рыдающих в домах, с рыданием встречаются все друг с другом, отец с сыном, и сын с отцом, и мать с дочерью. Друзья на улицах, обнимаясь, кончают жизнь; братья, обнимаясь с братьями, умирают...»*

Потом чтницы сменились, не переставая читать всю ночь. Всего и услышал он от них за дорогу, как старшая сказала младшей: «Они все знали, ангелы-то наши, вот наперёд всё знали». И младшая старшей согласно в ответ: «Да, да». Ночью на каком-то полустанке дверь теплушки с грохотом отворили четверо вояк, порядком обношенных, похожих на дезертиров. Сквозняком задуло огарок. Пассажиров не видать, а вот стоящих на земле щедро освещала луна. И Лавр запомнил внезапный ужас на лицах солдатни. Мародёры или злополучные попутчики, как знать, увидав гроб, задвинули визгливую дверь и больше не побеспокоили.

Наутро случилась большая стоянка, Тверь не принимала. А на следующий день уже в самой Твери на вокзале женщинам помогли станционные сгрузить их тяжкую ношу на перрон. И Лавр помогал. Сёстры улыбнулись ему, молча поклонились в пояс и расстались, как с близким, разделившим их горе. В теплушку тут же набилось народу под завязку.

Как близко видевшему смерть каждый день вдруг привыкнуть к её обыденности? Картины чужой гибели становились испытанием. Люди теперь казались вещмешками, ношеной одеждой: свернешь шкурку и на выброс. И ничего не изменится в пространстве. Люди – кучи барахла, тряпичные куклы, разбросанные по насыпям, откосам и кюветам за железнодорожным полотном. *Народ съедают, как хлеб едят.* В пути без остатка выветрились самонадеянность и беззаботность – вечные спутники юности. И никого в помощь: ни наставника, ни избавителя. Мучительно вслушивался в разговоры подсаживающихся на станциях; полустанки ближе к Москве поезд проскакивал. Всмотривался в лица попутчиков: прочесть бы, чем кончат тут.

На Николаевский вокзал поезд прибыл в клубах пара и кисло-сырого рассветного тумана. Солдатня со свистом и гиканьем полезла с крыш, из окон, с подножек, как муравьи из муравейника, ошпаренного кипятком. За ними, остерегаясь, вываливались штатские: мешочники и беженцы. Перрон вокзала пропах тяжелым духом горячего металла, мазута, колесной смазки, кипящих титанов, дешевого чая, пота и несвежего белья – неизменным, особым, вечным запахом железной дороги.

Туман не рассеивался и весь путь первым трамваем от Каланчовского поля, Стромынской, Сокольниками и до самой «Воробьихи» в Богородском. Кондуктор сонно принял плату и снова уткнулся в поднятый воротник, не глядя на первого пассажира – бородатого паренька с котомкой через плечо. На развилке трамвай, огибая фабричную ограду, повернул на Лосинный остров. Лавр, соскочил на ходу и двинулся в сторону противоположную дому. Акулинина чайная лавка на развилке в столь ранний час ещё не отворилась. Безлюдно и возле резиновой мануфактуры – воскресный день. Спустился к излучине Яузы. Присел над водою. Туманный сумрак здесь гуще, плотнее. Только в лесу ещё остаётся мирная тишина. Уши вязкой тишиной как ватой заложены. Вода на стремнине бьётся прозрачная и живая. А по обыкновению бывала тут мутной, медленной от выбросов. И отец клял резиновое хозяйство, загадившее Яузу и Лосинку. Выходит, не в воскресном дне дело. Фабрики встали.

Снова выбрался на дорогу. У «Воробьихи» всё ещё затворены ставни. Каменные карминные стены и выпуклые ребристые сооружения за ними неподвижностью своей напоминают массу застывшей резины. Резко взял левее, пересёк лучевой просек. Пошел перелеском на Путяевские пруды, стараясь пробраться между Моржовым и Змейкой, не выскочить случайно на Чёртов пруд с дурной славой. Дважды сбивался с тропинки. Тропы кое-где сужались до узкой цепи, если нагонишь впередиидущего – не обойти так, чтоб не съехать на кочки или в болотце не ступить. Теперь вглядываясь туда, где, казалось, и должен быть Чёртов, увидел щуплую фигуру во френче. Френч мелькнул колесом спины и слился с деревьями. В тумане глухо залаяла собака, чужого учуяла. Его ли самого, Лавра, или того во френче? Должно быть, с купеческих дач слышать. Про дачи отец рассказывал: купцы устроили в Сокольниках грот, тир, искусственный курган, пожарную вышку. Все собирались взглянуть вместе, так и не пришлось. Теперь же подходить к лесным дачам не стоит, кто знает, что там.

Лес стоял приготовленным к празднеству.

Поднеси сверху луч золотой и заиграет, загорится листвою пёстрой, лоскутной. Но неизвестная подчиняющая сила медлила, поражая наполненностью изумительно-дикой красоты. Туман приглушал свет, и празднество в лесу не наступало, но предчувствовалось. Рябины переливались парчой, орешник, березы отливали медью, но пока не оголились – стояли узнавшими, дождавшимися.

Выбрался к платформе «пятой версты». На железнодорожном полотне заметно посветлело, туман разрежен. Пусто на путях, но видно на полторы дюжины шпал вправо и влево, всего лишь. Перешел на ту сторону «железки», к пакгаузам с мазутом, и зашагал напрямки. У пакгауза шаркал сапожищами сонный часовой с винтовкой за спиною, безразлично взглянул на одинокого пешехода, встряхнув плечами, не вынимая рук из карманов, подправил погон ружья и развернулся прочь. Где-то совсем рядом всхлипнул паровозный гудок. Отец говорил, в голосе паровоза есть утверждение, торжество и тревога. Гудок ещё и ещё надрывал сердце детским плачем. Самого поезда не видеть.

Тоскливо заморосило и никого кругом. Оробевшие улицы, черные окна, ни огонька. Шаг глухой. И вдруг слабенький упреждающий свист: «Фью». Лавр насторожился, шагу не сбавил. Свернул за угол и с ходу налетел на две фигуры. Мужик выворачивал на спину парню пухлый мешок из лабазного окна. Лавр открыто взглянул в глаза принявшему мешок: что здесь? В ответ из-под кепки прицельный прищур на прохожего: ступай, христарадник. Секунды бороли взглядами друг друга: корсак и халзан. Смолчали. Разошлись. Лавр обогнул пригнувшегося под грузом и зашагал прочь, подтянув потуже ляжку котомки, не оглядываясь, чувствуя на виске ещё и третьего взгляд, соловья упреждающего «фью», «фью». Мародёры или обыкновенные воры. Плевать, плевать, грабьте, хозяева нового мира, грабьте.

Идёшь под изморосью, словно сон о себе смотришь. Идешь, идешь, будто поймой реки, низиной, бродом и вот-вот пустишься вплавь, в белый омут нырнешь...

Весь город в тумане.

Всё – туман.

Жизнь – туман.

Ни Таракановки не видеть, ни овражка, ни моста горбатого. А храм на горе стоит чистым, золотящимся звездами в черных куполах; пусть и крестов его не разглядеть в дымке. И сердце зябнет: неужто, дома? И внезапно обрушившийся, оглушительно-близкий звон колокольный. Полиелейный с Косоухим быют: дома-дома, дома-дома. Благовест в тумане разливается. И тот взгляд из-под кепки держит, цепкий такой, колючий, въедливый, лихой русский, знакомый взгляд; и вправду, значит, дома.

Ключи забрал у протодиакона Буфетова.

Лексей Лексеич Буфетов жил по ту сторону церковной горки, у погоста при храме Илии Пророка. Будить не пришлось, в доме уже поднялись; к заутрене быют. Старший сын Буфетовых – звонарь. Обрадовался старик, всплакнул на пороге и диаконица Варваруня всплакнула, а дети младшие, должно, спали ещё.

Чугунные ворота у Большого дома не заперты, прикрыты, кто-то увёл с ворот замок. Перед крыльцом Лавр замедлил, остановился. Пока добирался, ехал, тряся, голодал, не спал, была такая тяга – войти в дом; во что бы то ни стало войти в свой дом. Желание и гнало всю дорогу, как тягловый паровоз тащит вагоны: добраться. А тут ноги отнялись. Оступился на ступени крыльца, досочка прогнила. И руки занемели, отворяя двери. Вспыхнул свет, и тьма ушла. Побежала трель электрического звонка, за угол, в комнаты и кухню. Свет и трели возмутили тишину, а шаги человека, хозяина, тишину изгнали.

Когда руки не помнят, где находится выключатель, значит, человек непозволительно долго отсутствовал дома. Когда некому у него спросить: «как доехал», стало быть, совсем одинок тот человек, один во всём мире. Лавр ожидал увидеть беспорядок убегания и спешного

отъезда. Уборка дала бы паузу между прошлыми днями и настоящими. Но комнаты оказались прибраны и не тронуты сумбуром, как будто сюда, так и не добрался революционный хаос. Похоже, прибрались Буфетовы. Они же теперь дали вернувшемуся миску фасоли и детскую наволочку сушеной моркови – на первое время перебиться.

С грустью и радостью светлой прошел в зал-столовую, через библиотеку в отцов кабинет, вернулся в зал, прошёл в свою комнату – бывшую детскую. Огляделся. Ничего не хотелось трогать. Прежние звуки и запахи будто бы обещали вернуть невозможное. С другого крыльца во двор выбрался. Подышал, вглядываясь с порога террасы в верзилу-грушу, не входя сад. Совсем рассвело. Но день не обещал быть солнечным, дождь накрапывал, сея печаль. Знакомо и тонко пахло флоксами и яблоками. Яблоки спели и флоксы цвели. Значит, и без хозяев есть жизнь сада. Здесь тихо-тихо. Будто изгнанная тишина дома перебралась в сад.

Труднее всего войти в спальню мамы.

Здесь зашторено. Плотный полумрак. Идя на ощупь, помнишь всю обстановку до мельчайших потребностей: справа окно, оттуда в щели сочится день. Налево мамина кровать и туалетный столик. Вот по середине ширма, напротив входа шкаф и этажерка с книгами. Распахнул гардины и свет всей мощью обескуражил, как плеск ледяной воды в лицо. Картинка сохранившейся довоенной, допереворотной жизни окунула в домашнее, мамино, отцово, в те их общие дни, где жил беззаботный Лисенок-корсак, Лаврушка. Давая невыразимое упоение, картина прошлого беспечалия застала врасплох. Лавр не плакал в третий, девятый, сороковой дни, а теперь по-детски безутешно разрыдался у полупустого шкафа, как у гроба, уткнувшись в кремовое муар-антик платье, сохранившее, казалось, флоксовый аромат. Полупустой флакон «Лиля-Флёр» с отбитым горлышком стоял на туалетном столике и отражался в психе, под углом, должно быть, наклоненном ещё маминой рукою.

В зале ртутный столбик барометра Карла Воткея резко упал: женщина спряталась, бургер вышел из домика. Стало быть, дожди надвигаются затяжные. Бургерша всегда так делает – прячется в дождь. Напольные часы мастера Макарова с четвертным репетирным боем каждый час били гонг и «Вестминстерским» перезвоном возвещали переход часа. Кому били в пустом доме? Значит, вещи и без хозяев делят свою жизнь.

После хаоса, погромов, дорожных обысков, стрельбы и непрерывного стука колёс тишина дома, сгустившаяся у иконостаса, казалась обманным, незаслуженным беспечалием. Невозможным казалось улечься, как ни в чём небывало, в бывшей детской.

Уснул на оттоманке в не протопленном зале. Не было и мысли о том, чтоб раздеться в этом холоде.

Наутро следующего дня пошла его *другая* жизнь.

Ни свет, ни заря на заживший в доме огонек объявился незнакомый дворник, потребовал триста рублей за уборку двора, грозился вызовом в комиссариат, в домком, к квартхозу, к Комиссару труда по поводу грязного содержания полисадника в неделю санитарной очистки. Не сговорились.

Днем Лавр укрепил обломившуюся ступеньку крыльца, собрал пожухлую листву у фасада. Метелки не нашлось, пригодились грабли из садового сарая. С непривычки стёр ладони до мозолей. Теперь физический труд удерживал внимание на ближайшем и приносил искомую усталость. Садовым работам научился на хуторе в Айзпуге у дальней родни. Там жил после смерти родителей до самого отъезда, изредка наезжая на экзаменацию в Политехнический институт Риги. Но работы по саду были редкой радостью, празднеством. Из палисадника Лавр перебрался в сад, сгрёб листву в пирамиды, собрал опавшие сучья и лишь густые сумерки прогнали в дом. Нагрел воды для мытья, прочистил печь, уйму времени провёл в поисках свечек, свечей, бумаги для разжигания. В прошлом не замечаемые бытовые мелочи превратились нынче в череду странных, не преодолеваемых сложностей. Сложное упростилось до невозможности, простое усложнилось до безнадёжности.

Заботы по хозяйству отвлекали, но с души не сходили скорбь и ропот. Кашеварил, стирал, утюжил, а всё напознали мысли о далёком и теплом, о неизбывном детском благополучии, об отошедших из мира. И всё говорил с ними: то с отцом, то с матерью, будто не один вернулся, будто и за стол не один садился. По родителям больше не плакал, полон надеждой на их непреложное бессмертие и присутствие. Они лишь казались умершими, отошедшими. Они ушли из своей жизни, но верил – в его остались. Их исход не погибель и не уничтожение; просто мама и папа теперь пребывали на расстоянии, через пролёт. Он, конечно, всегда знал *о том* пролёте, где расстояние никогда не росло и не пресекалось. Но все же одна мысль свербила, точно мышь, мстительно подтачивающая во вред хозяину углы на пустой кухне. Лавр гнал мысль-мышь, но та снова и снова проникала в щели воспоминаний.

Молитва и грех всегда рядом, соперничают.

Рвался домой, но не к людям, а к вещам, книгам, стенам, ликам. Поражала тяга таинственной силы вещей, что подобно воздуху и свету имеет необъяснимую власть над человеком. Иная вещь памятью ладоней воскрешает животворящую силу не избытых переживаний. Здесь не оставляло ощущение близости прошлой жизни, не прожитой, не дожитой, бесценной, что ощущалась прежде совершенно обыкновенной, будничной, а могла бы, да не разворачивалась в непременно прекрасное.

Кажется, будто в дверях комнат ещё оставлены ключи.

Изредка заходил протодиакон Буфетов, тихий человек с кротким лицом и прежде насмешливыми глазами. Всегда один, всегда с непустыми руками: то коробок спичек прихватит, то свечей восковых, то поминное. Посидит, повздыхает да соберется восвояси. А Лаврику и принять стыдно, и отказать старику невозможно – обидится. Ест кутью, запивает рябиновым изваром и сам себе обещает: в последний раз, в последний раз. Семья протодиакона ещё не жила впроголодь, существуя на доброхотные даяния. Сыновья прислуживали алтарником, звонарём и псаломщиком в храме, да свечи грошовые из монастырского воску сообща крутили на продажу. Сам протодиакон ежедневно исполнял требы, тем и кормился, тем семейных и пришлых подкармливал.

– Молчишь?

– Я говорю. Не слышно?

– В годы бед нет важнее сердечного делания.

– Свечей не нашёл. Вечером в темноту пялился.

– Свечи мыши погрызли. Мышиный пир, мышиный пир...

– Спички отсырели.

– Мы снедь-то у вас подобрали. В иные дни и совсем уж съестного не оставалось. Но в крайний час вдруг кто-то приходил и что-то приносил. Промысел Божий в том вижу.

– Не в обиде.

– Теперь помывка – цельное дело.

– Разберусь.

– Зашел бы на чай. Тош больно.

– Сам кашеварю.

– Дому семейному нынче привыкать к холостяцкой жизни. О-хо-хо-х...

– Пустым и то выстоял.

– А к обедне что же не ходишь? Мать-то тебя младеньчиком в одеялках носила. Помяни ее, Господи, во Царствии Своем. Что же?

Лавр упрямо головой мотал. Протодиакон вздыхал.

– А ты не гаси огонёк-то. В следовании кроется преодоление. Вот я вошел в жизнь поседельных людей и близок к выходу, а все не насытился жизнью-то. И всё больше та жизнь не во мне, а в окружающем. Не гаси огонёк-то.

Повздыхает старик, повздыхает и к себе пойдет. А Лавр и не проводит, и не всполошится. Сосредоточится на дохлой мухе или трещине в стене и перебирает: вот сидим мы с Лексей Лексеичем, молчим, спасаемся. А кто же с солдатом, завшивевшим в окопе? Кто с девочкой, подбирающей гниль из-под прилавка базарного? Их кто спасет? *Скажите Богу: как страшны дела Его!* Разъедающее сомнение. И как будто бы к ответу Бога призывал: ответь, как же допускаешь победу низких людей? Сам пугался бесстрашности. И умалчался, и отступал. Поди, Христос теперь там, в окопе, в лазарете у стола операционного. И нету Его сейчас в церкви-то. Пусто там. Потому и большевички кожаные в храмы прут, шапок не снимая.

Так пролетали дни, так влочились ночи. Хотелось спать и не спалось.

Рано темнело. Дожди отошли. День убавлялся в зиму.

Нутро снега ждало. Где-то слышал прежде «живи в большом городе, как монах, стяжай тишину»; где, от кого? Электричество давали с перебоями, мраком повергая в уныние. Лишь протодиакон и навещал, приносил свечные огарочки: «Зарос ты. Одичал, Лаврушка. Мне, старику, такая борода положена, а ты-то укоротил бы». Лавр, сидя на табурете, подставлял то макушку, то шею и под стрекот ножниц выпрашивал: «Лексей Лексеич, действовать надо или бездействовать?». Протодиакон усмехался, но выходило всё больше не с довоенной хитринкой, а с печатью печали: «А это когда как. Возбуждай радость, где есть горе. Но будешь падать, не уклоняйся».

Расстанутся молча, каждый на своем стоит. А сойдутся и опять за разговор.

– Потрепало?

– Цел остался.

– Ещё потреплет. В христианстве не жди покою.

– Не себе иу.

– Что делать-то умеешь?

– Плотничаю маленько. В Москве ничему не учили. В Риге дядья в руки дело вложили.

– Тут нынче не строят.

И на обратном пути по дороге в храм утешает себя Лексей Лексеич: парень молод, разумен и тоже под Отцовым крылом, что ж беспокойство тщетное даст?..

Однажды Буфетов застал Лаврика за склейкой развалившегося синодика. Да у того так ладно получилось, загляденье. Лексей Лексеич стал приносить книги в починку, а за переплетные работы расплачивался, когда медной монетой, а когда и купюрой, сахаром. Предлагал оформиться в «Переплетной и гравёрной мастерской» при лито-типографии Платон Платоныча Вашутина. Но Лавр работу брал, а оформляться не спешил. Иной раз подновлял оклады у икон, киоты, чеканные светильники, но за серьезную реставрацию не брался, хотя рука его считалась точной и даровитой. Так учитель ручного труда в пансионе говорил, и дядья в Риге подтверждали, когда племянник поделки из янтаря стропалил.

Буфетов всё смирения ждал и в храм звал: «*Жёртва Богу дух сокруше́н; се́рдце сокруше́нно и смире́нно Бог не уничижи́т*». Лавр отмалчивался, сам ответа искал: разве Богу своему и лампадки не возожгу? Сидел, как бирюк дома, на себя и на Небо сердчая.

Казалось, и так жить можно.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. 1920-й год

1 Неправильные вещи

Насытился тишиной и ликами, потянуло и лица увидеть.

Время снимать шкурку с гвоздя. «*Ты даровал мне плоть и кости, дыхание и жизнь*». Бог хочет от тебя чего-то. Чего?

Лишь отойдя от тягот дороги, мало-мальски быт устроив, выбрался-таки в город. Едва зашагал по слободке, встретил знакомого Аркашку Шмидта – сына сапожника. На углу паровой лито-типографии сапожники сбывали мыло, папиросы Лаферма «Фру-Фру», «Дюшес» и «Смычка», гуталин, стельки, шнуры. Рыжий Шмидт играл на губной гармошке, весело и

придурковато зазывал на починку обуви, соперничая с армянином-будочником, торгующим неподалёку на базарной площади перед Горбатым мостком. Лавру вспомнилось, как лет шесть-семь назад на Святки случилась драка: двое на двое. Они с Костей Евсиковым возвращались с уроков из Набилковского пансиона в Мещанской слободе. К Аркашке тогда примкнул сотоварищ его по бараку Фёдка Хрящев – Гугнивый. «Бей гимназёров!» – гундосил Фёдка. А сестрёнка Фёдкина, на пару-тройку годиков младше брата, с криком «ерохвост, осади» влетела в их кучу малу, к удивлению всей четверки, взяв сторону длинноногого гимназиста – Лаврика. В той драке угомонились, когда обнаружили оторванный рукав от Тонькиного пальтишки. Кто оторвал – как узнать? Вину на себя взял Лантратов, а Фёдка и не противился, ему ещё не миновать трепки за прорехи на собственном кафтане. Тонька ревела щенком сивуча, во всю глотку: ей и досталось больно в свалке, и пальто разодрали. Под расстёгнутыми, плотной ткани, пальто у гимназистов – Кости и Лаврика – форменные мундиры с чёрными обшлагами и фиолетовыми воротниками остались абсолютно целыми, не тронутыми.

– Сквитаемся, барчук! – Фёдка сощурил узкие глазёнки, на безопасном расстоянии выставив мосластый кулак в сторону Лавра и Костика. – И ты схлопочешь, ваула.

На следующий день Улита Лахтина – кормилица – по наказу матери Лавра снесла Хрящевым в барак почти новую мерлушковую шубку, из которой вырос Лисёнок-корсак. И Тонька зиму щеголяла в голубовато-серой мерлушке. И вот тогда-то впервые поссорились два брата-молочника: Дар Лахтин и Лаврик. Дар не простил Лаврику соседкины слёзы. И себе не прощал, что не оказался в тот полдень на горке. И мамке Улите не прощал, уложившей его на время крепких святочных морозов в постель. Улита боялась обострения хищной болезни и девять дней пролежала сама рядом с Даром, не позволяя вставать. Лантратовы, хозяйева, давали укреплённое питание заболевшему, выписывали докторов из больницы. В тот раз приступа с рецидивом не допустили. А Дарка всё рисовал девочку в шубке с оторванным рукавом.

За Фёдкой Гугнивым ходила слава предводителя шайки налётчиков по чужим садам. Коська Евс и Лаврик не раз заставляли у себя в садах невесомых малолеток, рассевишихся на суках деревьев, словно воробышки, и сотрясающих ветви со спелыми плодами. Коська при том горячился, обращаясь к мальчикам: «Кокильяры! Господа корсары, угощайтесь! Зачем же яблоню ттак ттрясти?». Пацанята из Фёдкиной ватаги шли к решетам и корзинам, на какие указывал Костик. А Фёдка гнусавил: «Стой, шибздики, в подачках не нуждаемся. Сами добудем». И оглушительно свистнув, разворачивал всю ватагу восвосяи.

Теперь Лавр с Аркашкой издали переглянулись, не здороваясь. Сапожник весело подмигнул: бороду отпустил, барчук? Аркашка раздался в плечах, отрастил рыжий чуб до бровей, но в росте сильно уступал Лавру. Разошлись чужими, как и прежде. Не те лица, не родные.

Первым делом непременно отыскать Евса, потом к Лахтиным – молочной матери и брату. Но в профессорском доме за Горбатым мостком окна оказались заколочены досками крест-накрест, на двери шляпным гвоздем прихвачен обрывок записки: переехали в Последний переулок. Не близко, однако. И, повернув обратно, едва не столкнулся с соседом Евсиковых – часовщиком, кажется, по фамилии Гравве. Отчество часовщика Лавр напрочь забыл, едва ли и знал, вспомнилась прибавка: Вера, Надежда, Любовь и отец их Лев – у старика-вдовца росли три дочери-погодки. За время, что не виделись, часовщик сильно сдал, не узнать: высох до бушмена, краснел неожиданно обветренным лицом, как пейзаж на уборочной, и пересекал двор неуверенной, «заячьей» походкой, идя нервно, петляя, будто следы путая. Пиджак цвета хаки болтался на спине колесом, как чужой, взятый на вырост. Гравве, напротив, легко узнал в высоком молодом человеке, друга соседа Костика, удивлялся росту, неожиданному появлению и отсоветовал искать Евсиковых, убежали они из города то ли в Туретчину, то ли в Эфиопию. А на расспросы отвечал почти шёпотом и озираясь: «Последний переулок... Поймите же, Последний! Безумные правят городом! Вот такой пендельфедер. Зачем Вы вернулись? Тут безоглядно

жить нельзя. Подлый мир, подлый. Не вижу нигде, не вижу... Где Он? Куда отлучился? Не могу молиться Ему!». Толком не объяснившись, торопясь, Гравве пустился наискосок к парадной.

Часовщик, бывший сосед Евса – призрак прошлой жизни, малознакомый странный человек – теперь будто родной и нужный, потому как узнаёт Лавра в лицо. Значит, Лавр в своем городе, значит, и взаправду снова в своем городе. Значит, нет одиночества. Котька, Котька... Куда ты подевался, Чепуха-на-чепухе? Костино детское прозвище всплыло одновременно с историей про египетские мумии. Лавр заулыбался, продолжая бесцельно топтаться во дворе Евсиковых.

Тогда, не дождавшись Пасхальных каникул, сбежали с занятий в Музей изящных искусств. На спор решили проверить выдержку и стойкость: просидеть ночь в Египетском зале. Как выберутся обратно, не сговорились, главное, доказать – могут. Потолочная богиня Нут распростерлась над ними. И пока Котя запрокидывая голову, определял навскидку размах птичьих крыльев, Лаврик сумел забраться в укрытие между колонной с папирусом и саркофагом жреца. Но замечтавшийся друг его растерялся под пристальным взглядом служителя в дверях, покраснел, смущением и неуместной суетой выдавая себя. Музейщик заподозрил неладное. После короткого допроса Котька, физиологически не переносивший ложь, был раскрыт, насильно выдворен из Египетского зала в зал Древнего Востока и дальше прочь, прочь. Осмотрев почти всю экспозицию, Костик застыл перед мраморным Давидом. И более ни о чем не помнил. Но восхищали его вовсе не мощь фигуры или искусство воплощения библейского сюжета. Сына профессора медицины заинтересовала анатомическая непропорциональность некоторых частей тела. Правая рука изваяния казалась намеренно увеличенной, да и иудейский нос выделялся размерами. Перед самым закрытием музея Костик очнулся, вспомнил о товарище и сам поднял тревогу. Он испугался оставлять Лаврика в темном жутковато-таинственном зале среди спящих с открытыми глазами мумий. Ему казалось невозможным вернуться домой и преспокойно лечь в постель. Надо знать Котю, чтобы обидеться на него за срыв эксперимента, за невыполнение договоренностей. Если Котя кого-то жалел, он жалел действительно и непременно собирался утирать слезы тому, кто плакал. По тревоге, им поднятой, служители произвели розыск и вызволили поколебавшегося в отваге Лаврика. На следующий день музей уведомил о проступке руководство Набилковского пансиона, а пансион – родственников испытателей. Но к удивлению мальчиков, дело обошлось довольно сносно: без особых издёвок однокашников и разносов дома. А директор пансиона Иван Львович так и вовсе поддержал своих подопечных за «побуждение к изящному досугу». Котька долго поминал провал, но винил не себя, а служителя: «Всё кунстхисторикер ввиноват».

Чепуха-на-чепухе, чепуха-на-чепухе... друг славный, славный Евс.

Если теперь незачем идти в Последний переулочек и Евс действительно отбыл в Туретчину или Эфиопию, то айда смотреть город. Пройти тем маршрутом, какой не раз с отцом выбирали, найти Москву прежней, довоенной, допереворотной.

Горбатым мостком перебрался к базару. Рыночный гомон гнал дальше и даже запахи не остановили. Стоят последние золотые и солнечные дни, где город жив солнцем. Подался на Ердиевскую слободу и оттуда к путям Виндавского вокзала. Запах горячего железа тотчас напомнил страшный путь домой, кровь и смерти напомнил. Доносились переборы гармошки и сухой, надтреснутый голос, оравший частушку:

Ляпота, ляпота

Ей, гуляй, гопота

Жизня распрекрасная

Покуда Москва красная

Обошел стороною платформу, вагоны под паром. На вокзал заглядывать ни к чему, хоть и кричит паровоз призывно. Выбрался на Вторую Мещанскую, а поперек неё, дворами, полисадами, где и огородишком, сразу на Третью. Прежде далеко вдоль обходить приходилось. Теперь

заборы – роскошь. Уже другой вид у улицы, не парадный, а обнажающий, стыдный, как взгляд с тылу, из-под подолу, с черного хода. Всюду задние лестницы, сарайчики, проходные арки и тупички. Сотворили из городских улиц проселочные дороги со сторожками в саду. Из форточек трубы самоварные торчат и тут, и там, новые пролетарские печки. А флагов кумачовых понатыкано больше, чем труб печных. В воздухе не яблочный дух, а зловоние, ядовитые испарения нечистот. Не чищены мостовые. Ступени лестниц и крылечки заплываны. Тут и хорошие дожди не справятся.

У доходного дома Солодовникова остановился. Дом-каре удивлял непохожестью на дома-соседи тем, что с угла на две улицы спускался, и лифтами – делом в Москве не частым. Здесь ведь Николай Николаич Колчин проживал, покойного отца знакомый. Но сколько окон сейчас безразлично глазело на Лавра, не узнать, где квартира инженера.

– Чего выглядаешь, сынок? – старуха с бельевой корзиной тоже залюбовалась оконным рядом.

– Знакомец тут прежде жил...до Переворота.

– Ты что, сынок...приезжий, никак?

– Здешний.

– Да разве нынче можно так-то?! Молчи. А знаконца тваво не найти таперича. Всех перетусовали. Человеков много, людей мало. Встренешь знаконца, а тот норовить на другую сторону перейти, глаза долу. Здоровкаться перестали, даже соседския. А как заговорить, так всё об одном: как моетесь, чаво ядите, чем топите. А ране-то и про фасон, и про засол, и про звон колокольный...

– Помочь?

– Не. Отдышусь малость. Таперича на вулице и не присесть. На растопку скамьи-то ушли. И заборы. Утром выйдешь во двор, а двора и нет. И дворники испарились. Одне комиссары остались. Када только повыведутся...

– Скоро. Ну, спаси Христос!

– Во славу Божию!

Разошлись.

Из окна первого этажа на парнишку в шотландском свитере и бабку с бельевой корзиной взглянул мужчина, притулившийся виском к перемычке деревянной рамы. Что-то уловимо знакомым показалось ему в фигуре паренька, задравшего голову на верхние этажи. Но мужчина не задержался взглядом на тех двоих, перенесся на раздумья о водомерах насосной станции. Из-за соседнего дома, мрачно нависая над крышею, вылезали верхушки геппнеровских башен – Крестовских водонапорок. Сегодня он не мог смотреть на их помпейские зубцы. «Страшно ходить по пустому дому, который когда-то был счастливым. И общее состояние существования невозможно. Застрелиться, что ли? И одним махом покончить...». В глубине квартиры нервно забился дверной звонок, противно со стены заскрежетал зуммер телефонного аппарата, и в унисон им загрохотали кулаком во входные двери. Страх всегда на поверхности, даже когда и вины за собой не знаешь. По нынешней людоедской жизни любой внешний повод есть предлог попроситься. Но тут и проститься не с кем. Хозяин холостяцкой квартиры задумчиво повременил и всё же пошел отворять.

На Третьей Мещанской, не доходя Филипповского храма, Лавр замедлил шаг. Здесь среди каменных трехэтажек с проходными арками приютилась деревянная усадьба одного артиста. Имя его Лавр позабыл, а вот пудельков тутошних, белых, помнил. Посмотреть на них съезжались нарочно с разных слобод города. И Улита-кормилица водила маленьких Лаврика и Дара посмотреть Чучо и Мучачу. Пудельки выступали как обученные цирковые собачки. Случайные прохожие и зрители из приезжих вызывали на бис. Радость, радость. Где ты есть, радость? Что ты есть, радость? Теперь ворота усадьбы плотно затворены, ни дымка, ни звука.

И яблоки нетронутыми на ветках висят. Десятки глаз, должно быть, на них смотрят, ждут, как поспеют, или как стемнеет.

Издалека виден вытянутый шпиль башни. И тепло сделалось: жива Сухарева. Вышел на площадь. Тут оживленнее. По мостовой в обе стороны катят автомобили и извозчики. Тащится понурый народ, все больше в картузах, бескозырках, кадеты без погон, дамы без шляп, мужики в ватниках не по погоде. Будто нарочно стараются придать себе вид попроще. Площадь переходить не стал. Остановился напротив низенькой фигурки в кепи. Человек стоял у пустой трибуны спиной к «Троице в Листах», лицом к площади и пристально смотрел Лавру в лицо. Они встретились взглядами через пространство, пересекаемое проезжающими экипажами, долго всматривались. Первым не выдержал Лавр, отвел взгляд, отвернулся. У подножия Сухаревой под провисшим красным полотнищем завязалась толпа, но реденькая, не в пример прошлым скоплениям даже будних счастливых дней. Теперь никто не поднимался по крутому лестничному полотну, никто не спускался. И вся она – башня, словно сжалась, затаилась, притихла, старалась не выпячиваться своею имперской помпезностью среди малорослых зданьиц, людей в шинелях, в новой пролетарской хронике города. Да и ход часов башенных выдохся: встали на одиннадцать с четвертью.

Лавр перешел к странноприимному шереметьевскому дому. Здесь прежде Костин отец служил, профессор Евсиков. Ближние окна лазаретские горели желтым, болезненным светом. Когда гуляли на Сухаревой площади с отцом, папаша рассказывал маленькому Лаврику, как видел живого кита в Москве. Владелец морской выставки Эглит привёз такой аттракцион: кит с фонтаном. А город громилу эдакого не принимал. Лишь двор Шереметьевской больницы подошёл для представлений. Здесь возвели бассейн и запустили самого настоящего кита. Вся Москва на Сухаревку съезжалась поглазеть. А Лаврик всякий раз просил, проезжая площадь, «папаша, про кита расскажи». Посреди весёлого ужаса и приятные воспоминания город держит, не упускает напомнить: жила здесь радость прежде. Обернулся на низкорослого в кепи, всё глядит. Повернул обратно на Первую Мещанскую, ушел с площади. А в спину вперился тот, в кепи, что не мог сойти с постамента.

В чайной лавке Перлова на Первой Мещанской теперь советский цветочный магазин. На дверях табличка: «для совслужащих и коммунистов». С тумбы газеты трубят: *бесприогрышная лотерея-аллегри! Билетик за сто тысяч рублей! Помогите голодающим! Помогите инвалидам!* Газеты, крики глашатаев, афиши, плакаты, слухи... А правды нет.

Сердце билось навстречу милому одному местечку. И как болезненно люди бывают привязаны к месту. Надеялся и это место застать в живых, как Сухареву башню. Пусть там всё будет прежним. «Алавар! Алавар!». И самому смешно от детских своих грёз. Сколько раз с мамой и дедом гуляли по тропинкам Ботанического университетского сада – Аптекарского огорода, под петровскими пихтами и лиственницами, любовались пальмами и «английским садиком», следили за форелью и юрким лососем в имплювии. Дед неплохо разбирался в ботанике и, громко рассказывая маленькому Лаврику о *Howea forsteriana* – Ховея Фостера или о *Pandanus reflexus* – Панданус рефлексус, собирал вокруг себя кружок любопытствующих нянек и бонн с подопечными. Как Лавр тогда гордился дедом – высоким седоголовым стариком с молодеватой выправкой, неизменно вызывавшим внимание гуляющей публики! Тут же вспомнилась бабушка – под стать деду – своему супругу: рослая и стройная, но совершенно иного склада характера. Не любила шумных обществ, не желала чужого интереса. А её собственного внимания хватало на каждую душу из домочадцев. Так и замерла в памяти, свечой, горящей к Богу; когда не вбежит Лаврик в её спальню, всё бабушка у иконостаса стоит: то одного отмаливает, то другого. Повертится Лаврушка у ног её, не посмеет, голоса подать и убежит прочь. Знает, бабушка непременно спросит, чего забегал, когда договорит с Богом.

А позже, гимназистами, и с Евсом в Аптекарский огород забегали. Котьку завораживали кактусовые плантации и заросли бромелиевых или живородящих папоротников. Он мог

часами говорить о каких-то многоножках. Зато Лаврика увлекал «черепаховый» пруд, где можно обучиться гребле на веслах.

На подходе к месту поразило отсутствие старинных дубовых ворот.

Теперь дорогу преграждало подобие плетня из тощих жердей. С внешней стороны висело объявление «заперто», с внутренней стороны плетень подпёрли кривым дрыном. В глубине сада какие-то люди в мешковатых одеждах, кажется, мужчина и две женщины, перемещались по грунту на коленях, воровато оборачиваясь. Справа от них пустыми глазницами тарашилась на Лавра пальмовая оранжерея, как будто ставшая в коньке ниже, чем прежде. Стекла из рам то ли выбиты, то ли растасканы, перекрытия и обрешетка выломаны; местами свисая, как вывернутый карман. От немого остова оранжереи почти до входа тянулся прямоугольник безводного имплювия, заляпанного сухими листьями, травой и сучьями.

Женщины, поднявшись, подхватили тяжелые кошёлки и, озираясь, скрылись за оранжереей. Мужчина перебрался на их место, не поднимаясь с колен, принялся копать в земле и вдруг с силой швырнул пустым лукошком в акациевый частокол напротив. Потом уставился в небо. Так и не поднявшись с колен, стал утираться рукавом. Точно, молится или плачет. И чего тут делают эти псевдо-богомольцы?

Когда Лавр уходил, будто зажмурившись всем телом – чтобы не видеть разора, спину кололи дедовы упрёки «двести лет саду Петрову, двести лет. Разорители. Нехристи». У дома Брюсовых будто очнулся. Из окон полуподвального этажа неслась граммофонная музыка, и грудной женский смех смешался с излишне громкими голосами кавалеров. Есть что праздновать? Или забыться люди хотят? Но беззаботный смех показался неуместным оскорблением слуха и чувств, скулы свело, и оскомина противная завелась: что же делается с нами? Что же?

Возле усадьбы Баевых вдоль тротуара притулилась к стене кооперации чёрная гусеница очереди. Из глубины керосиновой лавки доносилась ругань, а на улице пережевывался мякиш вялого разговора: ждать завсегда тяжко.

- В деревнях резня.
- Землю не засеют.
- Заводы встали.
- На «железке» пути сбиты.
- У дитят ручки обглоданы.
- Зима в упор.
- Цурюпа бумаги подписывает.
- Ага, их главный водку хлещет.
- В доллгаузе он.
- Большевики скоро лопнут.
- Много ты знашь...
- Весной сыпняк пойдет.
- Китайцы трупы скупают в лазаретах.
- Голод.
- Смерть.
- Проходи, давай в конец...
- Чего встал? Зенки выкатил.
- Проваливай, говорят!

На противоположной стороне Мещанской, как шкатулка, не взведенная ключиком, притих ладненький домик кузнецовской усадьбы. Мертво и пустынно показалось у Матвея Сидорича: окна зашторены, ворота на замке, по стоякам ворот пирамидами вороха неубранных листьев, газетные клочья у ограды – вид нежилой. Бесстрастные атланты на фронте заняты вечным соперничеством: не отводят взгляда друг от друга. Каменным изваяниям безразлично, что там с человеком, хозяином или прохожим. Длится вечное противостояние: держат небо,

набрякшее то ли водой дождевой, то ли враждой... Вспомнились семейные застольные споры: тема посильности и непосильности, тяжкая ноша – всегда кара. Нету спорщиков в живых. А каменные атланты бодрствуют. Таких, поди, и не сыскать во всей Москве, всего у одних Кузнецовых и есть. Домашняя молельня святого Матфея за кузнецовским палисадом затушенной свечой стоит, забит крест-накрест вход досками. И ни лампадки в стрельчатых окнах, ни пения клиросного. А ведь нынче праздник двенадесятый – Воздвижение Креста Господня. В слободском храме у Илии Пророка, поди, праздничная служба идет. Пойти ли?

Обошел «хвост» керосиновый, а на тротуаре другой погибает.

– Что дают, братцы?

– Табак.

– А вчера конину тут давали!

– Конёкс-с по двадцати пяти рубликов за фунт прежде брали.

– Нынча тыща, поди.

– В Крещение верблюжатину жрать будем.

– О, газетные утки закрывали! Слыхали, чё брешут?

После в «ситцевый хвост» упёрся, потом в «сахарный» и так по всей Мещанке: не пройти. По пути праздничного, победного настроения не сыскал. Настрой будничней, торговый, брюхо говорит, не душа. Дошагал до водонапорных башен на привокзальной площади. Сверкают их шахматные туры карминным тарусским мрамором, по-прежнему сторожат с двух сторон Крестовскую заставу. В верхнем этаже окошки-бойницы светятся, должно быть, конторские сводку пишут. На ажурном мостике между башнями образ Божьей матери «Живоносный источник», к Кремлю обращен. Не сбили еще, удерживается Матушка! И снова на душе потеплело. Если прямо посмотреть и вверх на гешперовские башни, увидишь прежнюю картинку: зубцы вгрызаются в небо. Как будто и нету никаких большевиков. Как будто Советы – мистерия и буффонада. Главное не глядеть на вокзальный шпиль с красным полотнищем. Главное, не опускать глаз долу, на кожаные спины, на голенища в гармошку, на мусор и плевки.

Тот ли это город? Смрадный, каменный, дремучий.

Горько тебе, город Божий. Горько тебе.

Перешёл «железку», башни остались за спиной. Стал краем Пятницкого кладбища спускаться к базару. Опять Чепуха-на-чепухе вспомнился. Ещё учась в пансионе, собрались ночью идти на кладбище. И почему ночью?! Но дело действительно прелюбопытным казалось. От кого-то из отцовых пациентов Котька узнал, на Пятницком есть странная могила. Захоронена одна голова. Трое суток в великой тайне выдвигали версии, но идти ночью за их разгадкой собрались под Радуницу, праздник поминовения мёртвых. Лаврику не внушала надежды мистическая затея, но невозможно оставить товарища.

Котька сам себя выдал, подбирая экипировку: фетровую шляпу папаши, карбидный фонарь и дедову крылатку. Мать, застав сына за сборами, по странному набору предметов угадала замаячивший вояж и настояла на расспросах в присутствии отца. Котя физиологически не выносил ложь. Планы ночной одиссеи рухнули.

И с каким же облегчением Лаврик выдохнул, когда вылазка сорвалась. Его часто хвалили за правильность. Он с детства не доставлял хлопот взрослым: ни кормилице, ни приходящей няне, ни матери, ни отцу. Он всегда уступал старшим. Подчинялся многочисленным запретам. Сносил укутывание и закармливание. Но, странно, когда его хвалили за верный выбор, правильное решение, достойное поведение – откуда-то снизу, из пустот живота, к сердцу и горлу подступало протестующее недоумение: за что? Ведь так сами и учили его поступать. Не так ли и все поступают? Не солгал, не обидел, не прекословил – ведь так не трудно быть безупречным. И Лаврик не знал способа прекратить бесконечное «похвальное поведение»; делать гадости и бедокурить ему не по сердцу. А когда с годами то же самое одобрение врождённых черт он стал получать и от людей близко не знавших его, недоумение переросло в раздражение. Словно,

он не верил в чужую искренность и собственную заслуженность одобрения: «Лист лавровый, лаврушечка ваша, давит не хуже камушка пудового».

Для друзей-гимназистов, Лаврика и Евса, так и осталось тайной, как голова умершего инженера, защищавшего имущество Маньчжурской железной дороги, оказалась в Москве. Нынче и вовсе не до историй китайцев-боксеров, отрезавших головы. Нынче столько голов покатилося под ноги – не поддается счету.

У рынка совсем стемнело, к вечеру тут пусто. Наплевано, прилавки жиром лоснятся, поблескивают, до завтра здесь будет тихо и не убрано. С утра опять придет лабазник с сахарными головами, торговка с селедкой-заломом, крестьянин с салом и библиотекарь или учитель с подстаканником серебряным, с чашкою фарфоровой или с крестиком нательным золотым – выменять на пару селедок, на шмат сала, на миску картофелин.

Горько тебе, город Божий. Горько жителям твоим.

К храму Илии Пророка так и не подошёл, с Горбатого мостка свернул к тупику. После длинного дня впроголодь возвращался неосвещенными улицами, глядел на черные окна флигеля и Большого дома, сочинял себе: ждали родные, а не дождавшись, задули свечи, улеглись спать, оставив под накрахмаленной салфеткой крокембуш или калач с маком. Обман помог разве что на минуту. Отпер замок, распахнул двери, услышал глухой звук своего шага в пустоте, да шорох удирающих мышиных лапок по деревянным скамьям, столешнице и половицам – один, один. Вот тут-то и настиг ропот: если б не *те* – новые, бесшабашные примитивисты с веселыми сумасшедшими глазами, рыскающие по городу с нигилистскими идеями, разрушающие и созидающие на руинах безумцы, оскорбители обитающих в гробницах, бугровщики, ловцы, опустошители, источники энергии разрушения, весельчаки-любители войн и революций, кожаные кентавры, если бы не они – *прельщённые* – жизнь полная и разумная не пресеклась бы. Мир не рухнул бы. Не снялись бы люди с земель своих. В ропоте таком копилась двойная крамола: неприятие власти и воли Божьей. Он не отважился пойти против Сущего – смирялся с потерей, но против *тех*, кентавров, не умел быть кротким. И жил, ощущая свою отделенность, вычеркнутость от преобразующих правила жизни. Преобразующие до поры не обращали внимания на устранившегося. *Стояние* в стороне – единственное сейчас возможное для него положение. Возможный исход – устоять. Жил бесчувственно, отрешённо посреди светопреставления, жил мечтою об опровержении окружающего абсурда: может, и нету никаких большевиков?

Молитва и грех, молитва и грех. Никогда по-другому не выходило.

Душа, душа, что же ты? Одни на миру. Сироты. Пустынножители.

Затмение.

Горько тебе, город Божий.

Горько.

Когда потянуло со двора, из сада, из Большого дома на свет белый, тогда засобирался к Лахтиным. Улита-кормилица и молочный брат Дар с тех пор, как съехали на отдельное житьё, приглашались в лантратовский дом на каждый большой праздник и непременно в марте на детский день – именины Лаврика. Подрастая, Лаврик и сам стал ходить в шелапутинский барак, где Улита имела просторную комнату с отгороженной узкой передней. Тогда Дар заболел костным туберкулезом ног и позвоночника. Лантратовы приводили к нему врачей из Полицейской больницы доктора Гааза и Любимовского лазарета. Улита сына в больничку не сдала. Мальчику приписано лежать неподвижно, требовался особый уход. Родители Лавра купили гипсовую кровать, где Дар вынужденно пролежал полтора года. Гипс в кровати не меняли, пока больной не вырос из неё. На время ожидания кровати большего размера, изготовленной под заказ, Дара отправили в Лосинку. Там при почтово-телеграфной станции местный подвижник, чудодоктор, устроил детские палаты. Лаврик с мамой навещал Дара тем летом в дачной Лосинке и

даже завидовал детям, целый день качающимся в гамаках на открытой террасе. Лаврик хотел бежать с Даром по красным гравийным дорожкам к купальням на Яузе. Но Дарка лишь грустно смотрел на брата-молочника. В пристанционном лесу солнце пробивалось к детским личикам сквозь щетинистую хвою корабельных сосен. Мальчиков в висячих кроватях накрывали одеялами; посторонний и не замечал торчащих из-под одеял веревок, какими худенькие тела призывались к фанерному лежаку.

Упрямый Дар выкарабкался, к зиме встал на ноги, а весной снова объявился на дне ангела у Лаврика в гостях. Подоспевшую не в срок гипсовую кровать свезли в лесной лазарет «качающимся» мальчикам.

Теперь у закопченного храма Петра и Павла в Шелапутинском переулке набрел на свежее пепелище; ночью барак сгорел. Нету Лахтиных. Погорельцы уже оплакали происшедшее и бродили по пепелищу, выискивая возможное ко спасению. Пожарная команда оставила потоки чёрной воды, милиция снимала оцепление. Тесными московскими переулками вместе с разреженными клубами дыма и запахом ночной гари расползались слухи:

- Поджог, вот те крест, поджог!
- Третьего дня в Малом Гаврикове знатно полыхало.
- Одно к одному...
- Там-то пакгаузы с провиантом. А тута чаво?
- Чаво, чаво... В корень зри. Охрана сама и спалила.
- Проворовались?
- Следы замели!
- Всё-то вы знаете...
- Да, сами посудите, нажились, а отвечать не хотца.
- Так и бывает завсегда. Огонь пожрёт.
- А наш барак-то причем?
- Так Гаранин-то?
- На Казанке служил...
- Вот, батенька! И я о том.
- О чем?
- Экий Вы. В первом пожаре, должно, не без Гаранина обошлось.
- А нынче ночью видел ево хто?
- В том-то дело и есть. Никто не видел.
- Ивановы где?
- Тута где-то бродють. Лыськову в лазарет свезли.
- Кузовлёв-старшой в морге, малые ихние разбежались... Бяда.
- Ныне у всех беда.
- Гаранина кто видел?
- Чего пристал? Милиции то дело.
- Тело в участок свезли. Неопознанное.
- Аккурат со второго этажа, в углу.
- А Лахтиных видел кто?
- Лахтиных?..

По разговорам, Улита месяц как съехала куда-то в Рязанскую волость. Должно, живы они с Даром. Любопытствующие не расходились, глазели на девчушку, воющую у забора, на собирающих скарб среди обломков, на почерневшие стены храма.

- Глянь, церква-то обуглена стоить.
- Неспроста. Кара Божья.
- Божие посещение.
- Да, вы чего Господа в поджигатели записали?!

- Перебежчики оне, вот им за то и...
- Ага, перевёртыши.
- Непоминающие в клире тутошном.
- Каки непоминающи?! Живоцерковники тута.
- Храпоидолы.

Уже собираясь уходить, возле кучи обгорелых досок наступил на одну и ступнёю будто ожёгся. Вернулся на шаг и из мутной жижи выловил досочку расписную. Отёр ладонью. Взыскательно в него всмотрелась Матерь Божья. Оглянулся, хоть у девчушки спросить: чья потеря? Но у забора никого. Милиция и зевак разогнала.

Трамвай у Курского вокзала брали с боем, две остановки Лавр провисел на подножке и лишь на третьей удалось протиснуться вглубь моторного вагона; то же и в прицепном. Бережно к сердцу прижимал образок под свитером. Рядом пассажиры сплошь с мрачными лицами, лениво бранятся. Скрип деревянных конструкций и грохот железа по рельсам перекрывал зычный голос немолодой кондукторши. Лавру, подчинившемуся общей заторможенности в тряске, тоже не с чего веселиться. Дорога, как и лестница, – всегда пауза между тем, что было и будет, промежуток, момент безвременья, когда от тебя ничто не зависит, как будто и нет тебя самого. Сиди, стой, трясись и клюй носом. Пропала Улита. И брата нет. Живы ли? Евс уехал. Родители в земле. Под прошлым будто провели нестираемую черту: никого у тебя теперь, корсак. Жить тебе одному. Куковать, вековать, бобылить. Даже Буфетовы звать к обедне перестали. Никого? А Матерь Божья под сердцем?

Кулишки проехали, Немецкую слободу. Трамвай тащился всё медленнее, выдыхаясь на длинном маршруте. Тускло небо. Фонари на крыше вагона слепо шарили в сумраке при поворотах. Чем дальше от центра, тем меньше народу подсаживалось, больше сходило; остановочные павильоны пустовали. Кондукторша теперь дремала на перегонах, но вскидывалась при торможении и зорким взглядом выхватывала необилеченных. На подъезде к Хапиловке, Лавр услышал разговор двух парней, с виду железнодорожников. «Вон, видал, надьсь тут горело». «Малый Гавриков, что ли?» «Поджог, сказывали». «Ясно дело. Буржуи жгуть». На Большой Почтовой и те двое сошли. Почти в темноте трамвай свернул в узкую кривенькую улочку, нещадно скрипя деревянным остовом. Затормозив со скрежетом на безлюдной Малой Почтовой, состав встал. Здесь вместо остановочного павильона устроена высокая лавка под мощным меднолистным дубом. И прежде, чем трамвай снова двинулся, перед глазами трех человек: вагоновожатого, кондукторши и пассажира с задней площадки начало происходить что-то тревожно-непонятное. Через высокий сплошной забор на лавку к дубу свалился паренек в расстёгнутом тренкоте и кубарем скатился под колеса вагона. Попытавшегося подняться свалил мужик в косоворотке, перелезший через забор вслед за парнишкой. Тут же к ним ринулся третий, зацепившись лапами шинели за частокол. Косоворотка и шинель молча колотили тренкот. Парень также молча отбивался от мужиков, но начал сдавать, отступая ближе к трамваю. И в плотной тишине слышались глухие страшные удары, ни слова. В голове у Лавра промелькнуло: «Забьют». И дальше, одновременно все трое невольных свидетелей сообразили одно и тоже: спасать надо. Лавр, не сходя с подножки уцепил парня за воротник куртки, перехватил за подмышки и кулём перевалил себе за спину. Пока сам отбивался от мужика в шинели, рванувшего на неожиданную помеху – долговязого пассажира, кондукторша втянула парнишку глубже внутрь вагона, дёрнула за шнур, ещё и ещё раз, подавая сигнал: двигай! А водитель, выдав электрической трещоткой резкий треск, рванул состав с остановки. Мужики с минуту тяжело бежали сбоку, но тут же и сдались.

Лавр закрыл дверные «гармошки»-створки и уселся на своё место. Парень, сидя на полу, утирая кровь на лице и держась за отвалившийся от проймы рукав, расхохотался. Над ним участливо склонилась кондукторша и протянула косынку с шеи.

- Утрись. Без билета провезу. Далёка тебе?

- Спаси Христос! Мне в Последний переулок.
- Ишь ты! В другую сторону катим. Кровищи-то... За что тебя?
- Я физиологически нне ппереношу вранья.

Лаврик, уткнувшийся в вагонное стекло, развернулся и бросился к парню, поднявшемуся с пола.

- Костик!
- Ллантратов?!
- Котька, милый мой, Котька. Евс мой дорогой!
- Ппогоди, не жми так, спаситель. Намяли мне. Ввымажешься.

Кондукторша уселась на высокое место и устало глядела на двоих молодых бородачей, обнимавшихся и тискавших друг друга. Потом пошла к кабине. «Прокопыч, ты ж две остановки промахнул». «Теперь до парка никого не будет. Что там?». «Целуются». «Вот только что душу Богу не отдал, а уже целуется». «Не гони так, Прокопыч, ноги гудут».

Вернулась в хвост вагона.

- Эй, знакомцы. Сходить будете? На разворотное кольцо идем.

До Богородского добрались быстро. У развилки повезло встретить попутку. Телега со свиными тушами, уложенными поперёк, шла на салотопленный завод за Екатерининским акведуком. На ней и поехали, сидя в обнимку, ногами качая, как на краю сарайной крыши, холодея спины о ледяные, ноздрястые свиные рыла. Возница и напарник его в охране переглядывались и удивлялись двоим болтливым пассажирам. Длинный крестился в темноту, а другой, шустрый, живенький, кривился, за ребра хватался и стонал. Чудныя...

- Тты знаешь, день ккакой сегодня?
- Хороший день. Я жить начинаю, Котька.
- И мне ххороший, спасение принял. Ссегодня же четверток! Отец сстрашно рад ббудет гостю. Едемте, Ллантратов, едемте! Я Вам ккофе по-турецки сварю.
- И без кофе рад Леонтия Петровича видеть.
- Ввот и славно. Мы введь чего ппереехали... Ммаму схоронили. И в слободке больше жить не смогли. Вот ттеперь у отцовой ттётки живем. А четверги сошли сами ссобой.
- Не знал про мать. *Покой Господи, душу усопшей рабы Своей.*
- Ттвой где? Когда вернулись?
- Один вернулся. Схоронил родителей.
- Пприми их, Господи. Женат?
- Холост. Ты что ли женился?
- Что ты, Костя Евсиков не скоро обручится. Ох, ох, любезный, выбирай ддорогу-то, на кочках аж дух заходится.

У Буфетовых Евсу отмыли разводы запекшейся крови, перевязали разбитую руку, подшили по пройме рукав тренкота. Отпускать не хотели, но советовали всё ж в больничку. А Костику зачем в больничку, когда дома отец лучшим образом осмотрит. Дьякон Алексей Лексеич так и ахнул, увидавши образок: ««Похвалы Божьей Матери», ветковская, на тополиной досочке. Вот дар-то какой тебе, Лаврушка».

В Большой дом забежали на минуту, икону пристроить. Костик с видимым удовольствием бродил по комнатам, крестился на знакомые образа, рассматривал позабытые предметы: часы напольные, бившие прежде приветственным боем; барометр, где из домика вышел горожанин, а жена его показала спину; чернильницу с гусяром; вазу Галле с чёрной хризантемой; лудильный инструмент с припоем; карту мира, довоенную. Бирюзовые шторы из дамаскина даже потрогал: не снится ли ему. И не замечал, как у Лавра нарастает изумление на лице. Потом и увлеченному чужим домом Костику невозможно стало не разглядеть странного поведения хозяина. Тот быстро-быстро туда-сюда заходил по комнатам, потом застекленной верандой поспешил мимо девичьей в кухню. Костик за ним.

– Обоккрали?
– Наоборот. Ничего не понимаю.
– Что ппроисходит?
– Вот и тут, и тут, гляди!
– Ппирог. С капустой, ккажется. Духовитые... Буфетовы подкармливают?
– Бывает, угощают. Но сейчас Лексей Лексеич ничего не сказал. Да и дом заперт. Ключи вот они.

– Ччудеса!
– Вот и я себе так сказал. Как вошли, сразу понял, что-то не то. Книжки стопочкой сложены, инструмент аккуратно разобрал, я с янтарем иной раз работаю, заготовки из Риги привез.

– А сюда ччего прибежал?
– Форточка! Сегодня забыл закрыть, но с полдороги возвращаться не стал. К Лахтиным собрался в Шелапутинский.

– Вот Дар, ддолжно, женат уже.
– Ничего не разузнал. Барак их дотла выгорел.
– Жживы ли сами?
– В мёртвых нет, в раненых тоже. Добиться ничего вразумительного не мог – все всполощённые. Но соседи вспомнили, будто с месяц назад Улита с сыном на родину подалась. Селезнёво, деревня её.

– А кто ж тебя ппирогам-то потчует? Тут рука жженская чувствуется.
– Ума не приложу, веришь, Евс? И фортку-то отворенную с улицы не видать. Через сад, значит, в кухню пробрались.

– Странные воры! А ппирог наивкуснейший. Попробуйте, Ллантратов.

– Полы!

– Что пполы?

– Смотри, Котя, доска не просохла. Каустиком пахнет, щёлочью.

Погасили свет, печи не разжигали, затворили накрепко форточку, проверили все окна.

– Это не ккаустиком, Лаврик. Пповерь мне, здесь пахнет чувством.

2

Правильные вещи

В девятом часу вечера среди редких газовых фонарей ехали в новый дом профессора Евсикова, поймав у церковной горки извозчика.

– Значит, один здзесь?

– Один. Я ведь ещё когда собирался к вам, в Последний-то переулок. Сразу как записку нашел с адресом. Но часовщика встретил, как его, Вера, Надежда, Любовь и отец их Лев.

– Гравве? Ттак что же?

– Точно, Гравве. Он и сказал, что вы в Эфиопии или в Туретчине. Напрасно солгал.

– Ты про него нне знаешь? Лев Семёнович пповредился умом.

– Помешан?!

– Горе у него ббольшое. В семнадцатом Веру в ттолпе задавили насмерть. Вскоре Надю ссыпняк свалил, не выходили. Любу в Сокольничей роще сснасильничали, а она потом в большевички пподавалась. Все ччасы у него забрали, когда декрет о ввремени вышел. Младшая наклеузничала про коллекцию своего отца куда следует. Кконфисковали. Как ччасовщику без часов?

– Мне показалось, он болен. Не помешан, а просто истощён.

– Гравве говорит ошеломительные ввещи, не имеющие под ссобой оснований. Но все принимают их за чистую пправду.

– И я не усомнился в его словах.

– Его теперь часто видят у Путяевских прудов. Говорят, тропинки вытаптывает, каждый день как на работу ходит. Строит лабиринт, от кузницы к гроту и до пожарной вышки. От завалов дорогу расчищает, проходы закольцовывает.

- Здесь невероятно страшно. Я в Риге не верил слухам.
- Слухи не всегда страшнее жизни.
- Если не драка, не знал бы про вас.
- Случайная закономерность.
- А за что тебя?
- За генерала заступился. Тот Ленина их сатаной назвал.
- А где генерал?
- Почему знаю? В очереди за табаком ссхлестнулись.
- Купил табак?
- Нет.
- Табашничать начал?
- Нет.
- А зачем тогда?
- На обмен. Мне ордерок перепал.

В доме Евсиковых сильно беспокоились. Костика ждали к обеду, а он и к ужину запаздывал. Хозяйка квартиры Прасковья Павловна, одинокая женщина почтенных лет, Костика с малых лет считала своим внуком, да и племянника, Леонтия, любила и уважала за высокий чин. Сам профессор сидел у стола в столовой и читал неожиданному гостю справочные цены из свежего выпуска «Известий Советов Депутатов». Гость допивал чай с только что испеченными волованами. Профессор читал вслух, а сам то и дело вскидывал глаза на часы-луковичку. Гость всякий раз замечал тревожные взгляды собеседника, не разделяя беспокойства, утешал: «Вот-вот звонка ждите».

– Мука пшеничная ожидается по шестнадцати рублей за пуд. Ожидается! Вы слышали? Третьего дня уже на рынке по сотенке рублей торговали за тот же пуд. Гуся одного купить, не меньше двухсот рубликов отдать придется.

Профессор нервно скомкал газету в руках и зашвырнул к креслу у окна.

– Нет, стало совершенно невозможно читать газеты. Как будто бы хотят научить своего нового человека совершенно другому русскому языку! Не заметишь, как обвит всякими измами: марксизм, троцкизм, федерализм, формализм, аморализм... а-бра-ка-дабра, а-бра-ка-дабра...

Долгожданный звонок в прихожей, и вправду, прозвучал внезапно и чересчур оглушительно. Профессор перестал бурчать и бросился отворить двери, обогнав на ходу тётку. А гость тем временем обеспокоенно заглянул в проходную комнату рядом со столовой: тихо ли там? Тихо, еле слышное сопение.

В переднюю вошел коренастый мужчина, в наглухо застёгнутой тужурке с двумя рядами начищенных пуговиц. Снял фуражку, поклонился с порога образам и крепко обнялся с Евсиковым.

- Мир дому.
- С миром принимаем. Николай Николаевич, дорогой, проходи. Сколько не видались?
- Так почитай, с похорон супруги Вашей.
- Стало быть более года.
- Не прогоните? Вспомнил вот про четверги прежние. На тепло домашнее потянуло. А Вы, смотрю, не в духе. Хотя кто нынче духом спокоен.
- Прходи, друг, проходи. Сын запропастился где-то... Вот и беспокоюсь. Тётя Паша, гость у нас. Колчин.

Прасковья Пална появилась с тарелкой в руках и приборами, только ждала не гостя, а домочадца. Раскланялась с пришедшим и ушла снова хлопотать. Сердце старушечье радовалось, когда в доме появлялись люди, так одиночество меньше досаждало. Сегодня просто праздник престольный, хотя под грудиной ныло то ли на перемены погоды, то ли из-за пропажи Константина. Профессор поспешил вслед за хлопочущей тёткой.

Инженер прошёл в столовую, где к своему изумлению застал за столом священника. Подошёл под благословение.

– Отец Антоний!

– А Никола... Христос Воскресе!

– Воистину Воскресе!

– Давно в храм не заглядывал. Чем живешь?

– С Пасхи не слышал слова доброго. Не живу почти.

– Грешное удумал?

Колчин вздрогнул и глаза опустил.

– Жизнью своей так распорядиться дело скорое. Но ведь у Бога отымешь! Им дадено, а ты вырвать хочешь.

– А нужен я Богу-то?

– Никола, и тебя сшибли? Не верю.

– Разрушаюсь, отец.

– Семья в Крыму?

– Сначала радовался за них. Теперь худо и там.

– Вот ты кажешься себе одиноким. Забыл, значит, о Боге-то? А Он ведь о тебе не забывал. Двое вас. Верующему должно говорить себе так: я люблю Его. Я слышу Его. Я чувствую Присутствие.

– Тяжко мне в их логике. Как всё вокруг покраснело, изверилось, перевернулось, протухло.

– И вот уже храм внутри тебя повержен...

– Так ты ещё и винишь меня, отец? Сурово, по-нашенски, по стыраверски... Зашел на четверток, погреться, называется.

Помолчали. Священник заговорил со вздохом.

– В первый год революции – битком в храме, на литургиях не протолкнуться. Радостно видеть полный приход с привычным порядком. Но кликушествовали, пророчествовали, на исповедях про видения всяческие толковали. Мистицизм веру затмевал. Нынче повсеместно духовная жизнь замерла, прихожан поубавилось. Одни старухи-богомолки исправно ходят. Унылая малолюдность повсюду. Очень не хватает прежней сложности. Невероятно всё просто вокруг. Всё Божье как будто бы устранилось. Ну и чтоже? Должно ли происходящее повергать меня в отчаяние? Но гляжу я на древних старух – у них-то не искоренить. У вас всё быстро перевернулось. А у старух – нет.

Вернулись профессор с хозяйкой. Евсиков заметил хмурые лица гостей и отведенные взгляды, проследил, как тётка расставляет блюда с закуской. Пытался усадить и её за стол. Но Прасковья Пална ни в какую: «Пойду у малого сердечка погреюсь, ребячий сон посторожу». Хозяин застолья достал из буфета ополовиненный графин с яблочной чачей и снова вытащил часы из кармана жилетки. Помолчились.

– Ангела за трапезой.

– Невидимо предстоит.

– Кулебяка у нас хоть и с капустой да на хлопковом масле, а всё же сытно и вкусно. Волованы с селедкой тётка славно готовит. Лазарет мне карточку продовольственную даёт, и сын в своем фольварке получает паёк. Жить можно, не бедствуем пока.

– Мне их хлеб поперёк горла. Я инженер. Не стар ещё. Работаю за совесть. Почему я должен получать по карточкам или заборной книжке?

– А мне не зазорно, дорогой Николай Николаич. Как пользовал людей, так и продолжаю. А Советы считаю досадным условием, временным недоразумением. Много знакомых сбежало. Те же Лантратовы, едва война началась. И мне бежать? Мне, мирному доктору, ничего не грозит при самой свирепой власти. Дело делаю, но не на чьей-то стороне.

– Затащат.

– Почему же, Роман Антонович, непременно затащат? Есть свобода, вступать или не вступать в их партию.

– Видимость.

– Соглашусь с о. Антонием. Затащат, загонят. Нынче уже есть перебежчики, от нас, да к тем перебежали. Вот хоть бы Вашутина взять. Платон Платоныч с большевиками рука об руку и в храм ходить продолжает. Ведь ходит в храм-то?

– Ходит.

– А вы принимаете?

– Принимаем.

– А я вот, может, потому и не хожу. Мне красные рожи всюду мерещатся. Хоть в храме не видеть их. Так нет же. Там Вашутин с его вечным: «и то-то, и то-то, так вот так». На каждом шагу идиотские хари – и ветеринар тот, Черпаков, не кажется так отвратителен. Хотя сто лет его не видел и столько же и не видеть.

– Николай Николаич, злобным ты стал. У меня в лазарете больных всяких достает. И что? На койке палатной или на столе хирургическом спрашивать, какой он масти? Жить надо дальше. Не посматривать издали, а делать то очередное дело, какое жизнь тебе подбросила. Всё временно. Всё преходяще. Погоди еще: владеют городом, а помирают голодом.

– Может, затем и пришёл, послушать, как вы спасаетесь.

– Выпьем-ка по первой, гости дорогие.

– Спаси Христос! Вот объясните мне, техническому человеку, мужи умные. Каждое поколение спрашивает у предыдущего: как же вы упустили? Что же не поднялись? Хотя сами-то от калош отказаться не готовы. Тень хаоса давно надвигалась на отечество... И ведь мы видели, замечали ее манки, знаки, приметы. Но надеялись, авось, не с нами, с кем-то другим. Теперь вынуждены жить в своей стране и чувствовать себя чужими, каково?

– А когда мы изгоями не были? Нам ли привыкать, – Перминов отклонился на стуле и взглянул на своих собеседников, как смотрят при первом знакомстве. – И в мыслях моих один вопрос: не носитель ли бациллы большевизма русский человек?

– Я – лекарь. Заглядываю в человеческий организм, а там система капиллярная одинаковая. И органа такого – большевизм – не наблюдается. Но иной раз спрошу себя, в России ли я? Люди те же, а страна другая. Осатанелая.

– Вот зачем мы водопроводы строили, акведуки, попечительские советы вводили, богоприимные дома затевали, музеи... Кто империю проклял? Зачем всё было? Музей изящных искусств сам Государь Император открывал. Общества трудолюбия придумывали. Сказывали, даже подземку в Москве заложить собрались, проект утвержден на самом высшем уровне. На выставке парижской по фаянсу первые места занимали. Матвей Сидорович – «король фарфора». Россию славили. Да пальцев не хватает хорошие дела вспоминать... Кому нынче? Прахом? Скажи, отец.

– Чада любезные, сам я в раздрае. Но сомнения мои не губительны, не разрушительны для души. Бог милостивей человека. Человек – жесточее Бога. И вера крепкая дает мне объяснения, и обещание спасения, и силы дает. Вот нынешняя власть достаток одних ставит в вину, в причину бедности других. Я дам вам пример. Помните такого домовладельца Солодовникова? Плюшкиным прозывали, не жаловала его Москва.

– В его доме нынче на квартире живу. В семейной половине, а другие полдома холостякам отданы.

– Вот-вот, от скареды и то городу перепало. Ничего с собой не унёс. Богатство одного отходит многим. Или вот другой купец нашей веры – Солдатёнков. Первый барыш в двадцать тысяч серебром отослал в долговую тюрьму за должников, коих и знать не знал. Потом стал накапливать. Достаток ныне хулим, поругаем и преследуем. Но он же для гонителей есть грубый соблазн, предмет вожделения, искус. Христос учил: отдай свое. Большевики учат: чужое присвой. Да и разве в обеспеченности есть радость жить?

Роман Антонович переложил лестовку в левую руку и продолжил.

– Вот вам, вероятно, чудно: предстоятель, а про капиталы рассуждает. Но мнение мое таково: грех отрицать неравенство и насаждать общие разряды жизни. Перед Богом мы все равны, а между собой нет. Ведь никогда не сравнишь исповедника Аввакума с безбожником Ванькой Пупырь-Летит. И в Воинстве Небесном нет равенства: архистратиги над ангелами стоят. Силой духа мы разнимся, мыслью и притерпелостью к подлому. *«Ученик не выше учителя, и слуга не выше господина своего».*

– Роман Антонович, почему они перешагнули, а мы совестимся?

– Рад бы ошибиться, Никола. Но тут кто дальше от Бога, у кого пуповины с Богом нет

– Так которые же победят?

– А те, кому оглядываться не на кого. Те, что думают меньше.

– У них не болит ничего. Болеть нечему.

– Столько в России умов. Почему всё же развал? – Леонтий Петрович адресовал вопрос обоим своим гостям, но ни от одного не ожидал ответа.

– А единения нету, – откликнулся Колчин. – Все в теории знают, что надо делать, и солдаты, и студенты, и политики, и кадеты, и анархисты с монархистами. Все идут к одному идеалу – счастью и справедливости – только в разные стороны.

Помолчали. Выпили по второй стопке. Колчин первым прервал тяжёлую паузу.

– Великое чувство любовь к Родине. Но какую Родину, по-вашему, я любить должен? Русь взрастила и гонителей и гонимых. Непостижимо, неподъемно уму моему малому. Нету у меня нынче ни любви, ни Родины. Кругом оплевано и поругано. И ведь гонит лучших: мастеровых, деловитых, зажиточных. Творцов гонит. Что останется? Пустошь... И кто гонит? Кто жжет, кто рушит? Тот самый мужик. Строитель и есть губитель! Ничего не ценит. Не барина загубит, себя загубит. Империю! Дурак народ. Как не видит обману? Я человек дела, я без дела не могу. А у меня дело отымают.

– И чего ж не отнять, не обидеть? Так и Христа проткнули копьем. Господа-то у них нет. На кого обернутся? Расточительна Русь, своих детей губит...

– Жить стыдно. Как мы допустили?

– А я вам скажу как...

– Нет, я вам скажу, гости мои бесценные, с чего все началось. А началось, когда все промолчали против замены веры. Вот тогда, двести лет назад! Ведь ересь пропустили, переписали требники, заутреню по-другому чину завели и вечерню, двуперстие в щепоть сложили... Не мы еретики, а нас анафеме предали. Они есть сектанты, кто от веры старой отшатнулся, не мы. Еретики и раскольники они потому, что вчера ещё в нашей вере молились, вчера родителей своих хоронили по обычаю предков. А сегодня вдруг тот обычай объявили неправильным. Так значит, и мать, и отца прокляли, крестившихся двуперстием?! И все смолчали. Стали жить дальше, лямку тянуть. Окромья горстки смельчаков, гонения принявших, принявших всесождение.

– Тогда промолчали, так и нынче промолчат... Целая страна молчунов! Церковь звала, но мир что вода, пошумит, да разойдется. Правду искать на земле стоит немалой крови. Прав

дорогой наш хозяин, с раскола пошло. От себя отказались. Тогда они души людские переписали, не токо же книжки. *Гроб открытый – гортань их.* Языками своими обманывали.

– Ну, Никола, нынче новые книжки пишут. Что не день, то декрет. Социалисты – большие фантазеры, самоучки-книжники, далекие от дела, от производства.

– Как погляжу, книжные люди не брезгают и расстреливать?! Безбожие – нынче религия.

Священник едва договорил, как в передней заливисто-молодецки затрезвонил звонок. Профессор сразу просветлел лицом: так громко умел прийти только его сын. И хоть с Лавром радостно обнялись сразу на входе, без нагоняя Евсу не обошлось. Отец, бранясь, потащил сына к тётке на кухню, где ярче прихожей горел свет: «Раскрасавец!».

– Ллантратов, Вы вот сюда, через проходную в столовую. Я ммигом. Только закажу тётушке консоме диавль-пай и ппудинг нессельроде.

Из кухни послышались тёткины причитания. Идя в полумраке проходной комнаты на свет и голоса за портьерой, Лавр приметил, в углу на кровати кто-то зашевелился, забормотал. Всматриваясь в темноту, подошел, наклонился. Ребенок сонными глазами смотрел на него.

– Мама?

И тут же снова рыжей головенкой припал к подушке и, казалось, уже крепко спал, не просыпаясь. Лавру померещилось, будто он сам, желторотик, в своем доме, в своей кроватке видит сон о матери. На стуле возле висел кафтанчик, рядом лежала скуфейка.

– Вы что ттут? – налетел Костик.

– Тсс! А говорил, не обручен. У самого сын растет.

– А... у нас Толик, ссынишка иерея.

– Ну как там?

– Ррёбра целы. А ррука и челюсть заживут.

Лавр подошёл под благословение. Поцеловал священника в левое плечо. Отец Антоний тыкнул его пальцами в лоб и по макушке пристукнул, как осерчав. После приветствий и первых расспросов, помолясь, «*ядят нищие и насытятся, и восхвалят Господа възыскаючи Его, жива будут сердца их в век века*», снова уселись за стол. В одном торце восседал Перминов, в другом – хозяин, по длинные стороны сели Костик с Лавром и инженер Колчин. Он и начал разговор, как обычно.

– Что там? Те еще?

– Тте.

– Они не торопятся, – вслед за другом откликнулся Лавр.

– Дело-то, похоже, невозвратное, – подтвердил Колчин

– Времена дико смотрят, – заключил священник.

– Как знать, как знать. И потопа Ной не ждал. Вот и я не ждал, а какой нынче четверток! Собираемся в круг! – профессор радостно передавал тарелки с ботвиньей, разливаемой Прасковьей Пальной из фарфоровой супницы. – Присаживайся, тётушка, порадуемся вместе.

– Не серчай, Леонтий, к дитю пойду.

Старушка вышла. Убрали стопки и разлили теперь уже по бокалам красное вино.

– Ради встречи. С праздником! С четвергом!

– С четвергом!

– А чего бороды отпустили, молодёжь? Сынами вроде не обзавелись?

– Сынов не скоро родить.

– А ты зачем вернулся-то? – в лоб спросил Колчин у Лавра.

– Как объяснишь... Мучило ощущение, будто там чего-то важного не сделаю. Тут нужнее.

– А... Наполеона убить! Сидел бы в своем хуторе возле могилки. Целее был бы – Ллантратовская гордость. Своим умом прожить хотите, умники?

– Гордость не гордыня.

– Чего Вы накидываетесь? Лично я считаю, все мы нужны для одного дела. Затем тебя не существует.

– Костик, защита не требуется. Сам за себя отвечу.

– Тоже мне, защитник разукрашенный. За что бился?

– За ббалерину.

– Ух ты...форс давишь. Похвально.

– Так почему же я зря вернулся?

– На рожон лезете. Сын у меня такой же, старший. Большой ты стал, Лавр Лантратов, красивый, тихий, глаза вот яркие, синие. Вдумчивые глаза. И сила в тебе есть, трудно не заметить. И всё же зря вернулся.

– Как приехал, к Вашему дому ходил. Но окон не знаю.

– Вряд ли бы и застал. Нынче гончая я. Ношусь между Алексеевской насосной станцией, Катенькиным акведуком, Крестовскими водонапорками. По четыре-пять километров от одной до другой. Где на перекладных, а где вот на этих вот двух. Сапог всю седмицу не снимаю. Иной раз и сплю в сапогах. Положиться-то не на кого. Старые кадры кто арестован, кто на войне сгиб, кто бежал от красной сыпи. А новые ничего не смыслят в инженерном деле. Агитировать да митинговать здоровы.

– У нас в Аптекарском похоже. Уткина прислали, поставили заведующим оранжереей. Он раньше стригольником был в цирюльне и даже не слышал о ботанических очерках Кайгородова или «обмене веществ» Фаминцына. Его пролетарским руководством загублены редкие экземпляры бромелиевых. Вытопан бельведер сортовых гортензий. Колодец в центре сада засыпан, ттащите воду с тылов, чем неудобнее, тем ближе к пролетарской политике. Мы по ночам, по нерабочим дням самое ценное выкапываем, пересаживаем, по домам прячем. Уткин желает сделать из Аптекарского огорода самый большой в мире климатрон, остров будущего или грандиозный стадион. Очковгирательствующий тип.

– Так ты в Аптекарском подвизался? Я же заглядывал туда.

– Плачевное состояние. Видел?

– Видел. И всюду также. С магазинов старые вывески отодрали и кругом обшарпанные стенки. Будто сразу весь город в ремонте.

– Казалось бы, чего жалеет? Трубы, пальмы, стены, заборы. Но вот и у нас в Шереметьевском лазарете медикаментов всё меньше. Нуждающихся в них преогромное число. И, говорят, ожидается ещё большее количество жертв. Так и хочется сказать кому-то там за башнями кремлевскими: закройте заводы, каучуковый, бойный, салотопленный, кирпичный. Все заводы закройте. И выпускайте только корпию на марлю. Одну только корпию.

– Разлагается Россия, Леонтий Петрович. Встала Русь. Гниём. Как говорится, сгнила раньше, чем созрела.

– Не так линейно, Никола, – предостерёт Перминов. – Большевики безусловно победили. Но Россия за Богом.

– Однако неразбериха. Толковых докторов рассчитали, как классово чуждых. Приходится бегать из отделения в отделение. Меня учит лечить большевик, получивший знания в остроге! Каково?! Бывший каторжанин Штольцер набрал себе свору приспешников. Прежде не приходилось видеть такого скотства в человеке. Один там выдающийся тип – Полуиванов. Подготовил памятку, обязывающую персонал прислушиваться к разговорам больных и их родственников на тему критики Советской власти. Каково, я вас спрашиваю? А мне выговаривают за вероисповедание и принадлежность к крепкой вере. Я им обоим поставил вопрос: как влияет двуеперстие на то, в какой руке я стетоскоп держу? Ничего толкового не услышал, да и не полагал услышать. А оскомины остались: будто ты другого сорта. Для них – безбожников-коммунистов – понятнее атеистующий. А старообрядца она кроме как «дырником» да «капитоном» и не зовут. Впрочем, что там мои оскомины – детские слёзы. Тут на углу Моховой...

– Это напротив «моховой площадки»? Где бывший экзерциргауз? Давно не заглядывал туда.

– И теперь не заглянешь. Заместо экзерциргауза правительственный гараж. На углу Моховой встретился с Войно-Ясенецким, вот где горе. Валентин Феликсович на несколько дней в Москву по делам. Седой, старый. А мы ведь почти ровесники. Сдается мне, затравили светило. Он свою недавнюю статью о методе перевязки артерий поместил в «[Deutsche Zeitschrift](#)». За ту статью, должно, товарищи и мстят. Такого масштабного человека губят. У него колоссальный опыт по борьбе с пандемией! Ещё с 1905-го, когда и холера развернулась, и оспа, и тиф. Он пишет очерки по гнойной хирургии, увлечён с головою. Грандиозная вещь могла бы выйти. Да ведь загубят. И подобной бестолковщины кругом полно.

– Папа, пессимизм не способствует пищеварению.

– Да, друзья мои, выпьем ещё по одной. Берег для случая. Вот нынче случай и настал. Великолепное французское Го-Брион. Правда, его лучше бы не ботвиньей закусывать. Со встречей!

– Со встречей!

– И за бборьбу! Идем в протест!

– Я не указ вам, но герои не созывают на подвиг. Они молча сами на него идут.

– И всё же, Николай Николаич, не отходить! Нне играть в пподдавки.

– Таких наивных первыми в расход.

– Никола, злобнее ты сделался. Не пугай мальчиков. Мы при разных властях пожили. Нам интересно продлить, сравнить, увидать, что станется. Им важно, чем и как жить нынче.

– А чем? Мы прежде рядились с никонианами, чья правда выше, чья вера из начал вышла. А пришёл красный петух и курицу заклевал, яйца вдребезги разбил. И выбирать нечего.

– Ничего не кончилось. Сынам нашим всё одно выбираться на путь свой. Я вот желал Константина по врачебной части определить. Не случилось.

– Что же ты, Котька, в лекари не пошел? – Лавр открыто улыбался другу.

– Рродственной благотворительности боялся.

– Буржуйские у вас предрассудки. А товарищи не стесняются протекций. У нас на насосной станции в главных ремонтных мастерских старик Хрящев слесарем трудился. А нынче собрали всякий сброд и над всем производством поставлен соглядатаем сынок того слесаря – Ким Хрящев.

– Гугнивый? – Лавр даже вперед подался от неожиданности, тоненько задрезжали бокалы. – Федька?

– Эй, не налегай, здоров стал. Говорят тебе, Ким Хрящев. Может, имя сменил. Нынче модно. В деле инженерном ничегошеньки не соображает. Зато ходит в кожанке с ленточкой красной в петлице. Из-под картуза чуб на глаза свисает. Председатель Технической коллегии и местного комитета. Управляет он, управляльщик. Без его слова ступить никуда нельзя. Вчера не дал мне звонок сделать из моего же кабинета. Пришлось с водокачки бежать на Сухареву водонапорную, чтобы дать распоряжение в два слова. Там резервуары давно ликвидировали, а компрессоры стоят.

– Да как же? Старейшего работника и сместили?

– Чуба не отрастил.

– А чего Вы вволнуетесь? Может, дать им обгадиться?

– Мальчишка! Сообрази узел: Мытищинский водопровод, акведук на Яузе, Алексеевская водокачка, Крестовские водонапорные и Сухарева башня. Паровые насосы, компрессорная станция, контрольный водомерный пункт – мощь! Сбой в одном отрезке, и полгорода без воды.

Колчин шумно выдохнул и продолжил.

– По правде, и у самого такие мыслишки бегали: глаза закрыть. Думал, всё кончилось, кончилось. Но страшные слова – саботаж и контрреволюция. А того страшнее...

Колчин снова вздохнул и взглянул на священника. Протоиерей смотрел мимо него, будто безучастен к разговору. Но вся его поза в сосредоточенности своей выдавала крайнюю степень внимания.

– Застрелиться хотел. Стыдно жить. Ежедневный страх разъедает сердце. Мощности встанут и крах: Москва без воды в зиму. Долг. Кто на меня его взвалил? Да, никто. А этот «Тяпльпстрой» всё митингует и собрания проводит: кого выдвинуть, кого задвинуть, как у Бахрушинского приюта зданьице оттяпать, как профсоюзные взносы с работяг собрать. Тьфу... Виноват я, о. Антоний, грешен. Но душу свою я им не отдам.

– А я считал, мне хуже всех... После смерти супруги тоска невыразимая. Дошло дело до слез. Переменили жительство. Как же мы не чутки к чужому горю! Господь в нас дух раздувал, а мы все – тёплые.

В прихожей слабо тренькнул звонок. Переглянулись. Послышалось? И снова вкрадчиво: треньк. В глазах один вопрос: кого Бог под ночь принес. Чуть замешкавшегося племянника в дверях столовой придержала тётка несколько изумленным выражением лица.

– Я упредила, профессор на дому не принимает. А он, не раздевшись...

– А я по частному случаю, – возразил из-за плеча хозяйки густой баритон.

В прихожую протиснулся худошавый мужчина, вымокший под дождём. Хозяйка удалась: разбирайтесь сами. За стенкой всхлипнул ребенок. Профессор молча предложил пройти.

– Приветствие моё собранию. Дождь, знаете ли. Последний зонтик утерял.

– А у вас всё теперь последнее, – не преминул заметить Колчин. – Жизнь донашиваете и новой не достать.

Подсчитав в уме, сколько не принимал у себя Черпакова, поди около двух лет, профессор опамятовался и пригласил позднего гостя к столу. Гость повесил на спинку стула плащ и, не заставив просить дважды, уселся возле Колчина, напротив Лавра.

– Но как хорошо у вас тут! За чаем и вином, при лампе. Мягкий свет. Белые скатерти. Такая полная жизни картина, почти идиллия. Только без дам и водочка не забирает. Согласитесь, из всех нынешних странгуляций тяжелее всего снести отсутствие прислуги и профур.

– Истинное безверие! – настоятель отсел от стола в кресло-бержер.

– Я, собственно, по делу-с, – принялся извиняться Черпаков в ответ на опустившуюся над столом тишину и выложил на стол цибик с этикеткой «В.Перлов с сыновьями». – Вот и чаю перловского прихватил. По случаю достал, настоящего, довоенного. Через важного человека. «Инжень, серебряные иголки».

– Теперь все довоенное. Всё бывшее кругом. Нынешнего-то у вас нетути! Не создали! – не унимался Колчин. – И мы все бывшие... Не люди, а чердачный хлам.

Черпаков не поддавался.

– У Перловых не всё конфисковали ещё. Как на Первой Мещанской лавку закрыли, остался магазин на Мясницкой, ныне Первомайская. Старшие сыновья за границу галопировали. Приказчики приторговывают на свой карман. Теперь вот пролетарии свое «Чайное Товарищество» открыли.

Едва договорив, принялся жадно запикивать в рот остатки кулебяки. С полным ртом промычал «за здравие», подняв бокал красного, предложенный профессором. Дожёвывая, вскочил и двинулся вокруг стола, оглядывая убранство столовой. Все услышали не вписывающийся в обстановку, чужеродный запах; но ещё не определили, чему приписать его происхождение.

– А я вас по записке сыскал... Здесь потеснее будет. Комнат в пять квартирка-то, а то и в четыре. Некомильфотно. В новом стиле, так сказать... демократическом. Ну так-то и лучше, не уплотнят, если достаточно народу проживает. Ребеночек к тому же. Внучок Ваш? А сын подрос, возмужал. А... вот и Лантратовых сынок. Не узнать. Разве по взгляду. Всё так же

неприрученно глядите, как лис-корсак. Да, бежит времечко, прошлые дети – бородачи! Слышал, уехали Лантратовы, стало быть, вернулись. Вот так новость! Сейчас все уезжают. Бегут с корабля, а вы на трап лезете?

– Да, присядьте Вы. Будет волчком вертеться... – одёрнул хозяин, видя, как остальные крутят шеями вслед непоседливому гостю, приглядываясь к человеку, но не поддерживая разговора.

Все подметили некоторые перемены в Черпакове: заметное похудение, словно бы вытянувшийся череп, больше прежнего оттопырившиеся уши, особенно одно – вислое к низу, взгляд перескакивающий, скользящий. Весь его облик слегка полинял и выщвел, убавилось вертлявости. Голос остался прежним, густым и насыщенным, но обрёл заискивающие ноты. В жестах и движении оставался театральный эффект, расчёт на публику. И всё же, что-то не то, не то. Будто даже театральщина дается с трудом: вместо солиста-доместика ужимки игры каботина.

– Вошел, не поклонившись вашим образам. А могу и теперь соблюсти, так сказать.

Черпаков повернулся в красный угол и принял нарочито подобострастную позу.

– Оставьте, – строго оборвал Евсиков-старший.

Присев, Черпаков тут же вскочил.

– Анекдот слышали? Сидят за одним столом никонианин, старовер и безбожник... Ээ..., пожалуй, в другой раз расскажу. Сколько новостей восхитительных накопилось, не поверите!

– Кадушкой сырой пахнет, – заёрзал вдруг Колчин.

– Шубинского помните? Да и как не помнить. Имущество его изъято, имения национализированы в доход новой власти. Усадьбу ему одну оставили, ну, не усадьбу, три комнаты... и прислугу позволили, но не из своих...от Советов кто-то. Так бежал! Бежал-с! А ведь приготавливал революцию, вот своими оправданиями стачек – приготавливал! Щадил каракозовых.

– Распаренным березовым листом, – поддержал Колчина профессор.

– Сафо нынче играет старух: боярыню Мамелфу Димитровну, княжну Плавугину-Плавуцкову. Из усадьбы её не выселили, но уплотнили. Живёт в коммуналке с работниками канатной фабрики. Павлинов – в отставке, в изгнании, в забвении.

– Или дубовым.

– Антрепренёрша Магдалина Неёлова из ревности застрелила своего друга-артиста. Да, вот ведь как, не все Магдалины – мирносицы.

– Дубовый не пахнет.

– Карзинкина сняли с директоров Ярославской мануфактуры. Предложили ему место помощника бухгалтера в его же собственном деле. Ну, что за фортель?!

– Тимьяном внесёт.

– Рязань воюет с Коломной, Туголуково с Жердевкой. Жесточайшие войны местного разлива. Хи-хи...

– Веником банным.

– У Лямина-ткача городской дом и дачу в Сокольничей роще отобрали без возмещения убытков.

– Определенно веником!

– Говорят, председатель ихнего ЦИКа Аарон Свердлов прежде фармацией занимался. Нынче правят фармацевтики.

– Травят?!

– Правят! Что в ступах толкут? Хи-хи...

– Коллега, а Вы сами-то на какой ниве трудитесь? Домашних животных в городе поубавилось. Есть ли нынче хлеб у коновалов?

– И верно, ветеринария в упадке. Но свезло достать прекраснейшее место! Нынче служу санитарным врачом в банно-прачечном заведении. Не прибыльно, но почётно. И продовольственной карточкой обеспечен, и уважением. Да-с.

– Банно-прачечное заведение? Забавная конфигурация. Удастся, стало быть, ладить с новой властью?

– Говорят, большевики скоро лопнут. А по мне так один чёрт, только бы сидел крепко.

– Антихрист так антихрист?! Хай гирише, та инше? Ослиное мышление.

– Погоди, Николай Николаич, дай *товарищу* высказаться.

– Я не знал, как вас фраппирую. Но от бесконечных перемен власти можно умом тронуться. Советы так Советы. По слухам, на фронтах у красных всё шатко, господа. Глядишь, к весне сойдет пелена. Вместе с талым снегом-с. Вот недавно к Троице в Листах на лафетах гробы свезли. Народ бегал глазеть, и я не преминул. Лежат комиссарики не красненькие, а синенькие, с пустыми глазницами, с губами рваными, как пакля. Хи-хи.

– Надеешься, значит, апологет? Третью весну ждёшь? Но кто им сочувствует? На чем держатся который год? Кого ни спросишь, все против. А большевики на престоле.

– Спасительная чума. Отпадут они струпьями, я вам как ветврач говорю.

– А заслужили мы свет? – глухо из полумрака откликнулся настоятель.

– А если и сойдут весною, с чем останемся? – горячился заведённый Колчин. – С фекалиями? С оборотнями? С нехристями? Точно живем в Средние века, а не в эпоху цивилизованности. Да, впрочем, стыдно говорить о прогрессе, когда всё вокруг загажено. Потихоньку лишаемся культурных приобретений для здоровой жизни. Зубного порошка не найти! А на базаре он за баснословные деньги. Мела в стране нет, я вас спрашиваю? В ваших красных банях помыться – мука и разорение. В очереди отстоишь три часа. На вход – такса, на стрижку ногтей – такса, на выдачу огрызка мыла – такса. Получи номерок на мойку, номерок на парилку, номерок в раздевалку. Всю страну в очередь поставили! Стоят мужики да бабы с талончиками, узелками и чемоданчиками, как котомники последние. Штамп тебе в паспорт хрясь: помыт. А ты вон иди, ты третьего дня мылся. Скоро и канализации лишат, опять на жёрдочке над ямой выгребной висеть будем. В обывательских головах горожан ад устроят, где ничего помимо низменных забот не удержится. Одни только нужники искать станем.

– Мысль наглядная: низвергнуть, заставить человечиска радоваться любому всему. Но, Николай Николаич, будь осторожнее.

– Господа, я не из ВЧК, при мне можно. Хотя агента одного знаю лично. Варфоломеев. По прозвищу «Капитан». В баню к нам ходит мыться. Хи-хи. Требует у банщиков особым образом тимьян запаривать. И под лицо ему кладут на массаже. Товарищи прибрали банный вопрос к рукам. Услуги-с. Выгодно. А знаете, как ВЧК растолковывается? А вот как: век человека короток. Так что имею возможность обеспечить банным ордером и составить протекцию на омовение. Хи-хи...

– Хоть в шайку ко мне не лезьте! Где есть мыло, дело должно быть чистым. Не ходил в ваши бани и не загоните. Грязно там...

– На какую грязь намекаете? Не сексот. Приходите. И вашу кержачью кожу отмоют, попятят первый класс!

– Да он глуп!

– Оскорбляете? Теперь всех уравнили. И бывший кобелиный доктор не ниже инженеров.

– На таких и держатся большевички: глупых и беспринципных.

– Профессор, мне на дверь указывают. Проводите!

Евсиков-старший поспешно вышел из-за стола вслед за выскочившим без поклона Черпаковым.

– Вот тебе и четверток, – подытожил Лавр.

– Пподстрекатель?

– Провокатор? Новый человек? Нет. Попрыгунчик. Перепрыжкин. Любопытен, так как пованивает. Всё вонюченькое притягивает, не можешь не приоткрыть.

– Нелепая дурашливость. Гебефреник, – предположил профессор, вернувшийся с тенью озабоченности на лице, – Но напрасно всё же, напрасно ты, Николай.

За поздним часом, не сойдясь во мнении, разошлись. Прасковья Пална не позволила будить Толика. Условились возвратить ребенка назавтра к обедне. Провожая настоятеля, Лавр решил в дверях задать вопрос. Сегодняшним утром он входил к щепотникам, в нововерческий храм, искал среди погорельцев в закопченной церкви «Петра и Павла» своих: брата молочного и кормилицу. Священник цепко взглянул в глаза спросившему, как душу встряхнул, ответил: «Таковым не замиришься. Что ставится в свет, становится светом». Шагнул было прочь и вдруг вернулся из задверной темноты: «Где Господь, спрашиваешь? Господь во храме Своём святом». И вышел в ночь. А у Лавра заныла макушка. Вот ведь какое дело, взял человек и просто вышел в темноту. Ушёл, а осталось ощущение чего-то значительного, как ливень, как снега. Тут же простился и Колчин.

Профессор вызвался помочь с разборкой следов застолья; Феня, приходящая прислуга, объявится не раньше девяти утра. Но урезоненный тёткой отправился спать. Перебирая под хмельком все события вечера: от сыновьего расквашенного лица до ссоры и досадной просьбы, задремал быстро. Как далеки и бесполезны казались теперь «восхитительные новости» Черпакова, из жизни невозвратной, будто бы уже не имевшей к ним никакого отношения.

Лавр и Евс спать не собирались. Жалко времени на сон. Всё же в комнате у Константина устроили Лавру постель, на какой тот еле поместился.

– Ллаврик, а пправду скажи, чего всё-таки ввернулся.

– Закопали колодцы?

– Закопали.

– Вернулся откапывать те, что отец вырыл.

– Да, вот и я всё приключений ждал. Скучно было, благополучие развращает. Теперь грянуло. Живёшь... не понимаешь... чего Время от тебя ххочет...

Говорили долго, Котька сдался первым и перед рассветом уснул крепко, постанывая и вздыхая, но не ворочаясь. И как внезапно Коська объявился, будто ниоткуда, после находки с пожара. Просто вывалился из-за забора. Вот тебе «не гаси огонёк-то». Долго всматривался в квадрат окна, меняющий цвет. Но белого так и не дождался, сморило. Из темноты комнаты унесся куда-то в ещё большую крошечную темноту.

Колчин проводил священника до полдороги, на Первой Мещанской распрощались. Вернулся домой за полночь в бравурном настроении, словно не со старыми знакомыми, а с близкой родней повидался, словно кровь обновил. Нет, рано в расход, рано. Гнать постыдные мысли. Отбросить напрочь. Отец Антоний обещал подыскать в помощь человека из простых, но толкового и добродетельного. Надежных рук не хватает, сердца надежного. И теплом встречи отодвинулась на один вечер тревога за жену и сыновей, оказавшихся в Крыму, отрезанных линией фронтальной между белыми и красными. Что сбивает человека с ног необратимо: разруха жизни революцией или разруха личной жизни? И то, и другое губительно. И всё же, и всё же стоит ждать от Бога нечаянной радости.

Но более всех свиданию радовался Черпаков. Его не задевали насмешки инженера, ухмылки молокососов и даже откровенная негация попа не трогала. Он шёл пешком по ночному городу, довольно похихатывая: получил задаток от важной персоны с уговором, ежели устроит негласную аудиенцию у профессора на дому, получит вторую часть оговоренной суммы. Профессор согласился принять инкогнито.

Ранним утром Прасковья Пална собрала племяннику завтрак с собой. Евсиков-старший встал в приподнятом духе. Торопился в лазарет, прислушиваясь к звукам за окном в ожидании казённого тарантаса. Возница Полуторапавлов, старикашка, издавна работавший при лазарете,

всякий раз подъезжал точно в срок. Как старик угадывал время, не имея часов, для профессора оставалось загадкой. Перед выходом взглянул на троих спящих мальчиков, сердце умилилось. И сверкнула мыслишка, а может, и нет никаких Советов, может, наваждение, морок накатило. Боже, Боже, было бы так! Но тут же будто кто задёрнул плотные шторы, и свет чайный погас. Вспомнились Штольцер, Полуиванов, Черпаков. Хоть Черпаков и нездоровый человек, а прав кое в чём. Ведь вопреки навязываемому мировому пролетарскому счастью для каждого всё же имеет превышающее значение его маленькое обывательское счастье. Тихий свет елейника. Бархатная скатерть с золотой канителью. Фарфоровая чашка с пасторалью. Венские стулья вокруг стола. И чтоб ни одного пустого. Не в вещах дело, но в том, что они не дают забыть. Удовлетворение ищи в себе. В душе твоей есть мир древний, самородковый, смарагдовый мир, намного весомей и значимей навязываемой коллективности и общественности текущей жизни.

Перед выходом оставил записку сыну: *«Сударь, Вы под домашним арестом. Вам строго предписывается постельный режим. Лантратова надолго не отпускайте. Феню отправьте с упреждением в Аптекарский».*

Р. С.: на буфете две контрамарки, Черпаков навязал».

Когда профессор в шевиотовом пальто с саквояжем в руке спускался по лестнице парадного, спину его догнал тёткин вопрос:

– А чего вечер банщик-то приходил?

– Банщик?

– Ну да. Сосед кумы моей из Леоновой пустыши. В Ржевских банях спины трёт.

Будто вовсе без рессор просипела на мостовой подоспевшая лазаретская пролётка. Профессор собрался было расспросить в подробностях, но, не ответив, махнул рукой и быстрым шагом прошёл к экипажу.

3

Дрездо и мыльник

Трамвайные пути огибали Трубную площадь, впихнувшую в приоткрытые окна вагона звуки живого рынка. Квохтанье и курлыканье птичьих рядов перебивалось собачим лаем и щенячьим повизгиванием с рядов псовых. Площадь гудела разноголосьем, но не радостно-ярморочным, прежним, а больше похожим на озабоченно-взбудораженное брюзжание пчелиного роя, почуявшего умирание в доме рядом с ульями. Местная какофония ненадолго привлекла внимание пассажиров, но его тут же отвлекло на себя другое чудное происшествие: передвижной цирк.

С задней площадки моторного вагона на открытую платформу прицепного с любопытством смотрели рослый юноша и мальчик на вид лет семи. Пассажиры вокруг криво ухмылялись.

- К чему эти трюки? Доехать бы...
- Лучше б составов больше пустили. И так народ на подножках висит.
- Вон энтот с «колбасы» зараз сорвется.
- А вам чего не сделай, всё дерьмо.
- Не говори, власть старается. Праздники им устраивает.
- Подвинься, не засти.
- Твое ли место? Купленное?
- Господа, господа! Товарищи! Не создавайте давку.
- Вы чё бабу голую не видали, чё ли?
- Скоро трамваи до весны остановят. Снега на подходе.

Трюкачи на ходу исполняли цирковые номера: жонглировали, строили гимнастические фигуры и показывали акробатические этюды. Пассажиры замороженно следили за движениями женщины-змеи в блестящем чешуйчатом костюме, с лицом подростка и фигурой травести. Змея ловко свивалась в кольцо, закидывала ноги за шею, доставала пятками до макушки и так же легко распрямлялась. Люди на улицах кутались в фуфайки и поднимали воротники пиджаков. А циркачка в одном трико, на скорости, на ветру, крутила свои фигуры под жидкие, редкие аплодисменты и освистывание прохожих.

На Сретенке трамвай встал из-за преграды: на путях застряла карета «скорой помощи». Водитель безуспешно пытался завести заглохший мотор. Пассажиры, чертыхаясь и матерясь, разочарованно вылезали из вагона, требовали обратно плату за проезд и, смешиваясь с толпой прохожих-зевак, останавливались посмотреть репризы актеров. Кондукторша с сумкой наперевес и с зелеными от меди ладонями бранилась с особо въедливыми, но денег не возвращала. Женщина-змея куталась в шерстяное пончо, уступив место жонглерам, и заметно дрожа, смотрела в толпу печальными стрекозьими глазами. Мальчик тянул своего высокого спутника поближе к краю платформы, но высокий упирался и тащил мальчишку в обратную сторону: негоже скуфейке в цирк ходить. Как не жаль лишаться веселого представления, а всё же ребенок не послушался старшего товарища и вскоре они, взявшись за руки, зашагали вниз к Сухаревой башне.

Толик горделиво косился на спутника, уважение вызывал рост нового друга и от каждого мимолетного внимания прохожих к Лавру у Толика росло сердце. Лавр вёл за руку мальчонку и косился на кафтанчик и скуфейку, вот когда-то и у него самого будет такой сынишка, с доверчивым наивным личиком, с толковыми взрослыми рассуждениями и рыжими вихрами. Подсев к живейному извозчику на «трясучку» быстро докатили до Горбатого мостка и точно к обедне добрались до Буфетовых. Толик всю дорогу болтал про то, как они с дядюшкой Романом мате-

матику учат, как с дьяконом Лексей Лексеичем глиняные подсвечники лепят, как с диаконицей Варваруней шанежки пекут. Лаврик рассказал мальчонке про акефалов, про приключенческие вылазки с Евсом, про музейный зал с мумиями, про свою «коллекцию происшествий». Оба радовались знакомству. У Буфетовых их приветливо встретили, и Толика тотчас увели играть младшие дети. Диаконица усадила гостя за стол. В кухне пахнет свежей выпечкой, обстановка хранит уют добрых времен – отсюда не уйти запросто.

– Эх, сиротка наш Анатолий, – завела разговор хозяйка.

– А он настоятеля дядюшкой зовёт, – откликнулся Лавр.

– Может и родня дальняя. О. Антоний его у себя оставил после упокоения одной новопреставленной. У нас тогда отпевали. Про папашу его все года ничего не слышать, должно и тот сгинул со свету. Вот мальчонка при храме и растёт. Мать-то из Тмутаракани его привезла, из Китаю.

– Из Китая?

– Ох, не одобрит Лексей Лексеич, разболталась. Времена страшные, а сироте-то куда страшнее. Ты вот скажи мне, Лаврушка, вот за границами ты побывал, ученый, поди, знашь. А вот что за интернационализма такая? Никак я не возьму в разум. Ой, вон Калина Иванович по тропке чешет, к нам должно. Не случилось ли чего? Или так, к обеду. И ты оставайся трапезничать.

Лавр поднялся, собираясь уходить.

– Мир дому сему.

– С миром принимаем. Как дела твои, Калина Иваныч?

– Бисером вышиваем, мелочь засыпала, – буркнул как обычно церковный сторож. – Наплывает суета и хождение тудысудное.

А диаконица недовольство на себя примеряла: задела чем Калину? Почто сердитый пришёл?

Не дождавшись протодиакона и раскланявшись со сторожем в дверях, Лавр заспешил домой. Сторож сверкнул на Лантратова «цыганским глазом» и как штыком кольнул в упругих кольцах бородой: не лезь поперёк, цыплак!

На улице похолодало к вечеру, а ночью может и подморозить. Русский под зиму ждет холодов, ощеривается, ощетинивается, а ежели холода запоздали, человек русский топорщится шкурой, ропщет, мается: морозы да снег ему подавай. В крови у русского память холода, повинность и готовность защиты. А кто ж от благодати тепла станет защищаться? Благодать тепла для русского есть поблажка временная, скоротечная, невзаправдашняя. Зимой понадобится аккуратно протапливать дом и флигель. А дрова нынче ценность невероятная, даже коренья дорого стоят. Хорошо, на холостяцкую жизнь немного уходит, малым продержишься. Забор с улицы чугунный, не то давно бы выломали, как за ночь исчез целый пролёт на тылах сада; стоит с прогалом. Замок вот с ворот увели. Теперь створки тряпицей подвязаны. И хоть на дворы у кладбища да Церковной горки не покусились, хоть Буфетовы без хозяев поддерживали жизнь в Большом доме и флигеле, а не вернись теперь жилец и не уберечь от мародёров лантратовской усадьбы.

С хозяйственных дум Лавр снова вернулся к размышлениям о Толике и ночи у Евсиковых. Тепло сердцу. Чтобы другу радоваться как брату, чтобы возле чужого ребенка согреться, как возле сына собственного, нужно сначала потерять всех, одному остаться, в пустых комнатах с мышами беседы завести.

С улицы, от калитки, заметил бесформенный тряпичный куль у перил крыльца. Мешок привалили или кто-то укрылся с головою, поджидая хозяев? Улита?! Дар?! Сердце забилося, шаг ускорился сам собою, а перед крыльцом опять замедлился. Из-под телогрейки шли негромкие хрипящие звуки с посвистыванием. Человек спал. На ступенях валяется четыре окурка. Лавр кашлянул в кулак. Куль навстречу развернулся. На верхней ступени почти ровень с

лицом подошедшего Лавра оказался плотненький парнишка в телогрейке. «Не знакомы» – пронеслось с досадой. Но тут же голос заговорившего дал подсказку. «Ерохвост, осади!». Сперва проявлялось воспоминание о месте, где он слышал ту фразу и тот голос – горка, Святки – и потом всплыли другие слова, обрывки смысла и вся ситуация разом.

- Тоня? Хрящева?
- Уу... какой длинный. Здоров, Лаврушка.
- Христос воскрес!
- До Пасхи далёко вроде.
- Моя Пасха вечная.
- Пустишь? С час тут мёрзну. Сморилась вот.
- Так это ты через форточку?
- Ага, рукой раз, и створку отворила.
- Проходи.

Девушка уверенно прошагала верандой вдоль дома мимо окошка девичьей, мимо двери в комнаты. Лавр затворил за гостьей. Слышный махорочный запах вёл в кухню. Из подмышки Тоня достала сверток. Телогрейку сбросила на лавку возле стены.

- Оладья тыквенные. Остыли. Вот конфеты.
- Что ты мне как дитю? Не носи, Тоня. И полы намыла... зачем?
- Меня теперь Мирра зовут. Мировая революция!
- Антонина красивое имя.
- Ты совсем другой стал.
- И ты.
- Мне про тебя Аркашка Шмидт доложил. Женихается.
- Виделись с ним мельком. Так ты в невестах?
- Фью... От него клейстером воняет.
- Как в детстве. От Аркашки всегда кожами пахло и сапожным клеем.
- Ты один? Теперь одному не прожить.
- Я не один.
- С поповскими?
- От себя или от красной власти спрашиваешь?
- Откуда знашь, что я с ними?
- Видно вас сразу.
- И вас... ладанников. Порченые.
- Верующим быть не стыдно, Тоня. А вот *кожаным* – позорно.
- Ты когда бояться перестал?
- А никогда и не боялся. Как брат твой?
- Федька – сняголов, бядовый. В начальниках.

Мирра рассмеялась.

- Где же?
- На водокачке. Такой гулявой, девок меняет каждую неделю.

Оба замолчали. Говорить больше не о чем. Лавр занялся чаем. Разжёл плитку, налил воды в чайник. Самовара, пожалуй, на двоих много будет. Достал с дальней полочки непарную чашку для госты. Свою чашку взял, твёрдого фарфора с синими жар-птицами. С табурета посреди кухни за его движениями следила девушка в военной форме, качала короткой ножкой, обтянутой узкими мужскими рейтузами. Не знала, куда деть обветренные руки. Из кармана гимнастерки торчал край красной косынки. Короткая стрижка, под «бубикопф», делала её личико мальчишеским, по-детски любознательным.

- Куришь тут?
- Сам не табашничаю и тебе не стоит.

– А я с детства пролазой слыла. Федька меня в узенькую фортку подсаживал, крохотную, и пролезала.

– Выносила чего?

– А то.

Девушка снова рассмеялась.

Опять замолчали, не шёл разговор. Неловкость паузы чуть скрашивало нарастающее гудение закипающей воды в чайнике.

– Сахару наколю. А больше угостить нечем.

– Вот конфеты.

– Не носи, говорю.

– Чем жить думаешь? Может, к нам на фабрику? Форму шьём для армии. Выгодное дело, вечное. Я с товарищами поговорю. Твое буржуйское прошлое простится.

– Никогда не распрямится хвост собачий, никогда не пойдёт скорпион прямо.

– Ты не юли. Так непонятно мне.

– Хорошо живешь, Тоня?

– Очень хорошо. Едва и жить начала.

Прихлёбывая горячий чай из блюдечка с сахаром вприкуску, девушка принялась рассказывать, как в первый же год за ударную работу на фабрике её выдвинули на руководящую должность. Уверяла собеседника, политика военного коммунизма обязательно даст прорыв. Нынче норма хлеба на одного рабочего четыре фунта, а будет и пять, и десять. Лавр силился вспомнить сколько Тоне лет, пытался вот так, по нескладному их разговору, понять её жизнь. Они с Костиком и Федькой ровесники, она младше их. Тонечка слишком юна, чтобы окружение, грубая жизнь, наступившая простота нравов, желание подражать и не выделяться, сумели заглушить в ней женское начало. Девичье, живое, должно быть, не умерщвлено. Вихры спутаны и, кажется, никогда не знали укладки, руки в цыпках и ссадинах, а взгляд чистый, со слезой и солнцем, губы пухлые, детские, будто не знающие червивых слов. Лицо из тех, что созданы быть красивыми, но с расплывчатостью, где не хватает чёткости в чертах, где так видна грань между миловидностью и неказистостью. Grimаса гнева, злобы может промелькнуть печатью безобразия и миг стереть привлекательность. Сострадание и какая-то неожиданная нежность к женщине, что знал девочкой, и какая теперь рядится в мужское платье, пахнет табаком, сплёвывает на пол, жалась к сердцу и смущала. Видно было, и Тонька смущается.

С веранды донесся глухой звук. Во входную дверь настойчиво стучали. Оба обрадовались постороннему. Лавр взглянул на медный колокольчик на дверной притолоке кухни, но медь молчала. Пospешил отворять. Тонька следом верандой.

– Чего барабаните? Звонок исправен, – Лавр нажал кнопку, звонок унёсся за угол, к кухне и комнатам.

На крыльце стоял мужик с одутловатым лицом и замотанной грязным бинтом шеей.

– Супников. Осмотр бы провести, – прохрипел пришедший.

– Чего осмотр? – поинтересовался Лавр.

– Дома и флигеля, чего... Сами с месяц как объявились, а сами не учтенные.

– Мандат есть? – выдвинулась вперёд Тонька.

– Кто хозяин? Ты?

– Я не отсюда, товарищ. Я с фабрики «Красный швец».

– Чего квартхоз в заблужденья вводишь? – возмутился Супников и протянул Лавру потёртый на сгибах квадратик бумаги.

Мандат перехватила юркая Тонька, прочитала по слогам, шевеля пухлыми губами, и вернула уполномоченному.

– В порядке.

Супников, сморкаясь в грязный лоскут и багровея лицом, обошёл дом, дотошно и разборчиво осмотрев его со всеми подсобными помещениями: чердаком, мансардой, чуланами. Кое-где цокал языком, издавал хриплые звуки, но воздерживался от лишних расспросов, видимо, страдая ангиной.

- Здесь подпол. Там погреб.
- Ага... Хе, кхе...
- Ванная.
- Ага, моечная... Кхе...
- Уборная.
- Нужник?
- Лаз на чердак.
- Кхе...
- Полезете?
- Айда.

Пока Лавр искал ключи от флигеля, Супников с Тонькой перекурили на дворе, негромко разговаривая. Втроем вошли в дом Малый. Судя по участвующимся хрипам флигель Супников расценил более подходящим к расселению нуждающихся. Здесь комнаты меньше, чем в доме, не нужно строить перегородок. Уплотняй хоть завтра и докладывай в районный Жилсовет.

– Здоровое жилище, – подвел итог Супников, выходя из флигеля. Попросил воды. Лавр вынес ковшик с отбитой по краю эмалью. Проверяющий пил громкими отрывистыми глотками, кадык ходил под несвежим бинтом на шее.

– Товарищ, тебе бы в койку, – подгоняла проверяющего бойкая Тонька.

– Осталось обойти семь домов по слободке, товарищ Мирра. Наверх доложить, тогда и болеть можно. И всюду ведь всунуть чаво норовят. Возьми, Супников, возьми, впиши в записки свои «жилъё мёртвое». А я человек не злой...к-хе..к-хе...не злобный, говорю, человек. Но на службе, как пёс цепной делаюсь. Поставила меня власть на должность, весь квартал выворочу, каждый метр сосчитаю. Не купишь Супникова...к-хе..к-хе... Бывайте.

Проводив квартхоза, Тонька с Лавром помрачнели. Вроде каждый о своём, но будто об одном озаботились.

- Выселят тебя.
- Некуда мне отсюда уходить. И брата жду.
- Факт выселят. По-буржуйски живешь.
- Дом мой дед строил. Тут каждая доска под лантратовским шагом скрипела.
- Не одумаешься, сгинешь.
- Идет великое в мире разрушение. Странно было бы одному мне уцелеть, Тонечка.
- Да, да! И я готова сгореть на огне революции.
- Мы на разных кострах горим.
- Не понимаю я. Сбежишь?
- А родину тебе оставляю?

Лавру никак нельзя съезжать. Где найти Дара с Улитой не ясно. И если они станут искать его, то придут в слободку. Здесь Буфетовы, Рыжик-Толик. Здесь храм «Илии Пророка», где его самого, Лаврика, крестили в старой вере. Здесь Полиелейный с Косоухим благовест бьют. Уехать отсюда, как отрезать веревку от колокола. Но стоит ли объяснять девчонке-ударнице? Допивали остывший чай молча. Простились, почти преодолев чуждость и вроде бы даже став друзьями.

Тонька, не заходя к родителям в барак по ту сторону церковной горки, спешила на фабрику ко второй смене. «Тонечка! Тонечка!» – вот как он с ней. Ноги неслись, подгонять не требуется. «Тонечка! Во как. А дома всё поносят: «Тонька, лярва, дрездо». Возле базарной площади пришлось сделать крюк в сторону, чтобы не выйти на угол паро-литографии, где торгуют

Шмидты. Меньше всего сейчас хотелось встретиться с Аркашкой. Уж он бы точно по её лицу прочёл, что не разгадал недотёпа Лаврик. Пробежала с полквартила, перешла на другую сторону улицы, едва догнала отходящий от остановочного павильона трамвай, с «висельником» на буфере-«колбасе». Ловко вскочила на подножку. Мужики, едущие почти на весу, держась за поручни, протолкнули шустрого парнишку в военной форме на ступени вагона. Там Тонька достала красную косынку из кармана и повязала её. Один из мужиков брякнул какое-то острое словцо, другие загоготали. Тонька огрызнулась бы, не спустила. Но сейчас все равно. Сейчас у нее в душе играл военный марш: победные ноты, бравурные перепады гнали по всему телу волны праздника. А сердце, кажется, сжималось и торжествовало в ликующем звоне двух медных оркестровых тарелок. Тонька пока не понимала, когда и как, но верила, повернет Лаврика к новой жизни, к свету из его тёмного свечного, ладанного прошлого.

Не смеялся вместе с другими пассажирами худой мужчина с вытянутым лысым черепом и разными мочками ушей. Он притулился у окна и словно не замечал давки, не считал останки, улыбка его уходила куда-то вглубь, прочь от переполненного скрежещущего трамвая. До Ржевских бань тащиться около четверти часа.

Посредник получил гонорар сполна, как условились. Передал просителю адрес и время визита. Правда, поначалу профессор едва не отказал, оговорился: с первого года революции не ведёт частную практику. Но на уступку пошёл, вероятно из желания загладить вину за ссору. И верно, что горлохват Колчин себе позволяет? И сопляки надмеваются. Так вести себя в приличном обществе не положено. Впрочем, быть приличным ныне моветон. Как на язык могло выскочить само слово *приличия*? Ныне отход от нормы есть норма. Ныне приветствуется потягивание на старорежимное и чем разнuzданней, похабней себя ставишь, тем проще впишешься в общий настрой. Юстируй поведение свое под их клише и останешься жив, здоров и благополучен. И в мочной очень даже можно поймать барыш и залатать, наконец, брешь в семейном бюджете.

Черпаков жил, как по классике, со старухой матерью и сестрой – старой девой. До революции заработка ветеринара хватало на безбедное бытие. Составить широкую, постоянную клиентуру не получалось. Но заводить новых клиентов помогал приятель-провизор. Ветеринарный кабинет, собственно, одна, спонтанно обставленная комнатенка, прилепился к провизорской, что на Капельке. И даже единичные обращения клиентов с питомцами, редко когда возвращавшихся на Капельку в другой раз, давали приличную выручку. У провизорской имелся чёрный вход с лужайки. Туда-то и приводили коз, жеребцов, хряков, догов, сеттеров, лавераков и приносили клетки с белками и попугаями. Выезд к «крупному больному» на дом, в конюшню или свинарник расценивался по повышенному тарифу. Некоторые случаи неудачного лечения становились гласными и тогда слух о горе-ветеринаре немедленно исходил с Капельки и мгновенно распространялся между Крестовской, Ерденовской и Алексеевой слободами. Самым неблагополучным для Черпакова стал случай в начале карьеры. Он тогда просмотрел у двух белых цирковых пудельков с Третьей Мещанской признаки паратифа и пуделя сгорели за два дня от обезвоживания. В последующих случаях удавалось выворачиваться, находить причину болезни, почесав за ухом – везло. Неудача повторилась в феврале семнадцатого. Скандальный случай произошел с мальтийской болонкой одной девицы со Сре-тенки. Болонка отошла после прописанных ей порошков. То ли Черпаков и провизор напутали, то ли болонка сдохла от старости. Отец девицы, присяжный поверенный или страховщик, потребовал вернуть внесенный за лечение аванс и выплатить увесистую сумму за моральный ущерб, нанесённый его дочери, намереваясь подать в суд в случае отказа. Но тут грянула февральская революция и вопрос отпал сам собой. Гонорар остался у ветеринара, а беленькое, в шелковистых локонах, с алым бантом на шее, приукрашенное таксидермистом тельце – при хозяйке.

События в государстве несли необратимые изменения для человека. И мир людей, спасаясь, забыл о мире зверином. Отставной ветеринар вынужден оставить практику и искать иные средства перебиться. Попробовал устроиться заготовщиком льда у Елисеева. Но на второй день рассчитался: такая физическая нагрузка невыносима для него. Платят высоко, но при том не с кем словом перемолвиться. Тут же предложили работу в четыреста рубчиков рядовым конторщиком на смолокурном заводе. Отказался, мелкогато. Подвернулось место в землемерном управлении, удача! Он уже и сны благоприятные видел, а место ушло, перекупили. На Духов день гулял в одной компании за городом. Уж и «Яр», и «Стрельню» проехали, остановились в каком-то затрапезном кабаке у дороги, без названия. И стоило такую даль тащиться, солянка рыбная – дрянь. Там малознакомый прохвост хвастал, за небольшую мзду устроит на место снабженца в Губсоюз. Паёк дают, контора светлая. Но на деле оказалось, пайка нет и работа разъездная, на месяц, на два из Москвы в провинцию, в поля, в экспедицию по заготовкам. Пробовался на сборщика в Канцелярию податных инспекторов, там козырь – отсрочка от призыва на военную службу. Вроде бы и прошёл. Но тут бумага сверху: инспекции распустить и сформировать группы инспекторов, годных к демобилизации. Ринулся в Управление Рязанско-Уральской железной дороги. Туда протекцию составили партнёры по «пулечке». И снова благоприятные сны, как маменька разгадывала. Ан нет, подвернувшийся коммунист-высочка с безусловно пролетарским происхождением дорогу перешёл. А в тех поисках и метаниях дни летели, тшилась жизнь. И жилось всё хуже, голодно и колко жилось. Уже бы и в конторщики согласен, на смолокурный. Да куда там, спохватился.

Мать изводила упрёками в никчемности и неудачливости. Она же снарядила его в Вятку со знакомыми по Легоновой пустоши мешочниками. Туда собрал нитки катушечные, ножницы, стеклянные пробирки и флаконы, хину, зубной порошок в коробочках и кой-какой немудреный медицинский инструмент. Из Вятки вёз печёный хлеб, муку живую, сало. Ехал два дня в уборной пассажирского. Почти не спал, мешок с хлебом и мукою держал под головой, а салом, завернув в длинные рушники, обмотался вокруг торса. Помимо продуктов привёз домой вшей и лихорадку. Тут и нагрянули военные с повесткой. Застав лежащим в постели, отложили вызов на три дня. И три дня сроку Черпаков провёл не без пользы. Азы медицинского образования и врожденная артистичность в помощь; удалось-таки придумать, как симулировать душевное расстройство.

В бывшем трактире Романова на Сухаревой площади, а ныне мобилизационном пункте при Совете Народных Депутатов, принимали призывников. Очередь шла бойко, без отсева. И Черпаков успешно проходил врачебную комиссию, состоящую из двух старорежимных докторов, фельдшерницы и надзирающего за ними матроса-писаря. Писарь начал старательно выводить букву «Г» – годен – в учетной карточке, как вдруг фельдшерница дико завизжала, вскочив на стул, оттуда ловко перескочила на лавку и прижалась к стене с «замороженными» глазами. Черпаков со всей серьёзностью, на какую был способен, приговаривал: «Записывайте, товарищи, меня в Красную гвардию. В повара пойду. Мышку на лампадном масле зажарить не желаете?». Новобранец держал обугленного мышонка за хвост и предлагал его по очереди матросу и медикам. И больше ничего не пришлось объяснять, непосредственные объяснители – эскулапы – сами всё объяснили. Вернувшись в тот день домой, на радостях выпустил из мышеловки двух мышей, попавшихся на семечки, обмазанные салом, и ждавших своей очереди. Болезненность превращений нанесла урон его самомнению и горделивости, но зато дала возможность уклониться от присяги. Теперь решил жить тихо, незаметно, просто существовать, отставить анекдоты, планы, мечты, прожекты и «пульку» оставить. Мамаша свела его со знакомым раздевальщиком из Ржевских бань. И Док не противился – быть мыльником может даже выгоднее, чем кобелиным доктором.

Тут вышел новый декрет.

От декрета о банях мысль перескочила на шайки, полки, веники, мочалки, а дальше на мокро-розовые, в прилипших треугольниках березовых листов, в курчавых зарослях, тела. И разноухий лысый у окна заёрзал, оглянулся, не подслушали ли пассажиры его мыслей. В трамвае пихались и переругивались бушлаты, телогрейки и шинели – черно-серая масса. Он себя к массе не причислял, все-таки не столяр, не дёгтекур какой-нибудь. Глаза его научились раздевать публику догола. Голые тела зачастую без спроса объявлялись перед глазами: и в вагоне, и на тротуаре, и в торговой лавке. Ночью снились скользкие спины, ягодницы, ляжки, отвислые мошонки. Как бывало, находишься днём по лесу за грибами и, засыпая ночью, непременно видишь россыпь сыроежки, боровики, лисички, да лист рябой, палый. Или вот, когда до одури в карты наиграешься у помощника провизора, засидишься до утра, и только веки опусти, перед тобой вся колода рассыпана и тасуются крести с трефами. Так теперь он все ночи веничком чьи-то жиры сгонял. Березовым, душистым. Дубовый не пахнет. И духом баннным за полгода так пропитался, что дух тот не выходит, кажется, из кожи. Тимьян, чабрец, полынь, хмель, мята, лист лавровый густыми, настоявшимися запахами доводят до тошноты. Вечно волглое бельё всё сыростью, плесневыми пятнышками пошло. Сестрица поначалу нос-грушу морщила. Зато как стал им с мамашей носить мыло на продажу, тут и думать забыли «мыльником» и «кобелиным доктором» обзывать. Нынче за мыло чего только не возьмёшь, обмылок и то богатство, приданое, барыш. А кусок «шуйского» или от «Альфонса Раде» – цельное состояние. Правда сестрицу даже за мыльное приданое никто замуж не берет. Зато мамаша тащит с Хитровки и колбасы, и масла сливочного, и портвейна, и мадеры, и кружева фриволите, и блюда с майоликой за бесценнок. Парить – не кобелям хвосты крутить, здесь искусство требуется! И его недурственное знание медицины, и широкий кругозор явно способствуют, явно. Сам кожаный Варфоломеев ходит к нему на массаж в отдельный кабинет. Из шаечки на каменку плеснёшь, сенца на пол выстелешь и веткою канадского клёна накатываешь пару горячего, накатываешь. И ведь Варфоломеев слушать умеет, ему хоть про ассимиляцию сахара мышечной тканью, хоть про гадалку Кирхгоф, хоть о промывании ушей уриной. Он так расслабляется под спорой рукой, что бывает будить приходится. Зато и с чаевыми не скупится. Правда, ни разу и не давал. Но веско указывал записать на его счёт. И суммы там стали баснословными по нынешнему курсу.

– Бани Ржевские! Следующая – Капельский переулок.

Крикливый голос кондукторши и ветер из открытых дверей площадки рассеяли душный морок парной. Толпа выпихнула задумчивого пассажира на мостовую, закрутила вихрем между тел входящих и выплюнула на тротуар. Пассажир даже не заметил, как мальчишки-отрепыши надорвали ему левый карман. «Щипач» и «затирка», свернув за угол, поспалились над растыкой-недотёпой и отправились на хитровский торжок за леденцами, там что хошь бодануть можа.

4

Рояль под снегом

Оставленные Черпаковым контрамарки давали проход на религиозный диспут в Политехническом музее. Евс, решив непременно послушать полемику двух знаменитых ораторов, несколько дней уговаривал присоединиться отпиравшегося Лавра. К назначенному часу опоздали; в лектории не протолкнуться. Костя тянул шею, вставал на цыпочки. Лавра, на голову возвышавшегося над слушателями, пихали, норовили обойти. Со сцены гремели голоса, вернее один из них разливался обличительно-воинствующе, а другой доносился оправдательно-обескураживающе и едва различимо. Один с упоением набрасывался, другой с неменьшим упоением вступал, по-своему переиначивая сказанное. Публика неистовствовала, и с места, куда втиснулись Лавр с Костиком, не все реплики удавалось расслышать.

– И... бессмертия души с классовой точки зрения.

– Мы же антропологически чужие!

– Сейчас не прения. Не всовывайтесь! Итак, продолжу. В церковной революции лозунг «Пролетарии всех стран соединяйтесь!» вполне жизнеспособен. Да будут же благословенны дни Октября, разбившие рабские узы! Благодворите бедному. Дайте же взаймы Богу вашему!

Зал в очередной раз взорвался овациями и под их грохот с одного из рядов поспешно ушли двое в сермяжных однорядках, так не вязавшихся с выправкой и тонкими чертами мраморной музейности лиц. Костик рванул Лавра за руку и ловко пролез на освободившиеся места. Девушка, сидевшая позади Лавра, попросила поменяться: ей совершенно ничего не разглядеть за рослой фигурой. Нежным лицом, зеленым беретом и кипенно-белой блузой девушка напоминала ландыш. Поменялись. И дальше всё происходящее Лавр видел, как через лесной туман, каким возвращался в город. Не мог понять, к чему, зачем всплыла забытая картинка бестолковой вокзальной сутолоки. И множество голов, плеч, спин впереди сидящих на скамьях лектория напомнили толпу на перроне. Закачалась мамина шляпка, отцов кудрявый затылок, шаг вправо, влево, качается море людское. Качаются дрожки. Качается мир.

Вита сразу признала в рослом юноше потерявшегося мальчика, взобравшегося к ним в экипаж пять лет назад, когда встречали с фронта отца. Теперь ему должно быть лет восемнадцать-двадцать, а на вид даже старше. Те же синие глаза, тогда в них читалась растерянность. И скулы с подбородком тогда не окаймляла бородка, чуть темнее пшеничного отлива волос. Вот она, должно быть, и добавляет возраста. Друг юноши галантно подал руку, представился.

Коротко представляться Костик не умел. Милое девичье лицо приглянулось Евсу, оно казалось незащищенно-детским, что редкость на нынешних женских лицах под красными косынками. На шепчущахся тут же зашикали с соседних рядов, и все вновь увлеклись кипучим спором на кафедре. В прениях выступали архиепископ Илларион и обновленческий священник Вениамин Руденский. Ораторы говорили о повсеместной неврастении, экзальтации в приношении Иисусовой молитвы, об искажении пятисотницы, о проблемах богословской академии в свете обновленческой миссии.

С усилием выбравшемуся из вязких воспоминаний Лаврику показалось будто ораторствующий Руденский по-особому смотрит на Ландыша, словно выбрав из переполненного зала девушку в зеленом берете для обращения в свою обновленческую веру. Периодически аудитория взрывалась аплодисментами, поддерживая то одну сторону, то другую, как будто бы разделяя обе позиции или не стоя ни на одной, но ожидая фурора от самого зрелища. Соседка Лавра каждый раз опаздывала, хлопая невпопад. Зато две её подруги даже вскакивали с места со всей ревущей публикой в особо удачных местах речи попа-обновленца.

– Подозрительность церкви ко всему новому есть болезненная подозрительность. Но несущие истину готовы её излечить. Патриарх Тихон изжил себя. Церковь старух надо ломать! Взорвем её изнутри!

Рукоплескания. На некоторых рядах публика вновь повскакивала с мест.

– Староцерковники – цезарепаписты. Тихоновская церковь – музей. Стирая пыль с семи-свечника, отодвиньтесь подальше, не то поперхнётесь.

Рукоплескания.

– Вот тут мне подсказывают: антракт!

Публика неодобрительно зашумела. С разных мест послышалось:

– Долой антракт! Не хотим! Продолжать!!

Руденский обернулся на сидящего за столом Иллариона, вальяжно вернулся к трибуне и, холеристически подвывая, призвал:

– Чада! О, чада! Вы только взгляните, мой оппонент раскладывает листочки своей лекции. Судорожно ищет оправдания. Никакие резоны его не оправдают. Старая церковь – мёртвая церковь. Новый человек знает: основа всякой религии есть половое чувство. Старая церковь порочна, она развращает.

Рукоплескания.

– И всё же регламент. Просят передать слово молодому «староцерковнику». Оксюморон.

Руденского проводили с трибуны под аплодисменты. Казалось, затмить произведенное им впечатление невозможно. При выходе архимандрита Иллариона на середину с нескольких сторон послышался нестройный свист. Докладчик медлил, перебирал рукопись, вдумчиво всматриваясь в полукруг зала с кафедры. Пауза затягивалась, настаивалась тишина. Наконец, мягким вкрадчивым тоном при полном молчании зала вступил Илларион.

– Лозунги, лозунги... Да, я не стар, впрочем, также, как и содокладчик. Но мои аргументы зрелы. Им почти две тысячи лет.

Рукоплескания.

– Ни одна легенда не имеет такого возраста. Рано или поздно всякая легенда либо рассеивается, либо опровергается, либо затмевается новой и забывается. Но история Христа – Бога-Человека есть хроника событий. И мы свидетели: с нею не происходит ничего подобного.

Рукоплескания.

– И я мог бы сказать, никаких объяснений здесь не требуется, существуют естественные объяснители – сами верующие. Но ведь сейчас ложь ставится перед всем светом! Как тут промолчать? «Живая церковь» пытается оживить «мертвеца». Но как же жив тот «мертвец», вызывавший такие нападки. И как жив тот «мертвец», за которого тут шумели и топали. А многие ли встанут на молитву с вами? Чего вы хотите? Оживить? Привнести новое? Не для того ли, чтоб вслед за социальной революцией провозгласить коммунизацию церковного уклада? Не для того ли, чтоб допустить многоженство священников и вторичные браки?

Свист и топот.

– Взглянем и мы на моего оппонента. Кажется, он нервно крутится на одном месте, кусает ногти, а край его рясы прикрывает мои галоши, те самые, что собирается стянуть у меня.

Рукоплескания.

– Паазвольте...

Руденский резко отступил в сторону, и все действительно разглядели пару галош на полу сцены. Послышался стук, улюлюканье и свист.

– Вот так же живоцерковники хотят стянуть у нашей церкви всё ею приобретенное, вплоть до сана патриарха. Сперва восстановление патриаршества вызывало бурное несогласие с их стороны. Отрицая отрицай. Зачем же теперь они присваивают старые чины и титулы, именуют своего предводителя «Протопресвитером Всея Руси»? На деле же они не патриархи, а пустосвяты. Новопопы пропагандируют новые законы, а церкви старой не покидают. Ведь

совсем-то нового на пустом месте создать им не под силу. А вот возвыситься на былом, сплетая совсем уже невозможные вещи, сподручнее. Суть христианства есть страдание и любовь. Но любовь больше полового влечения. Так не напрасно ли граждане-обновленцы навязывают православию развращенность? Ведь само обновленческое движение со всех сторон обвиняется в попрании нравственности. И чем на бесчисленные укоры отвечают новозаконники? А, мол, никто и не обещал пользоваться лишь нравственными средствами. Вот так откровенно подается проповедь беззакония. Воистину бессмертный цинизм.

Рукоплескания.

– В пустой схоластике сохраним ли само православие? Мы в нашей академии преподаем курс обличения социализма. Но его, кажется, вот-вот заставят прекратить. И не без помощи свободной народной церкви, так послушной нынешней власти. Нынче же наблюдаем: каракозовщина, революционный ураган, распадающийся круг богослужения, Слово Божие ныне не проповедуется, отрицается бессмертие, утрачивается благородство, дети охулиганились... Но нам ли унывать? *Что было, то и будет.* Поколеблемся, значит, веру потеряем. Церковь возвышается, когда её поругают. А по живоцерковникам... Не надо их бояться, не надо и жалеть. Узурпаторы не вызывают жалости. Их надо учить азбуке веры. Им нужно объяснять про отмирные и неотмирные блага. Может быть, тогда прекратят присваивать чужие галоши и чужие истины.

Зал рукоплескал.

– И в заключение хочется предварить скорое отступление товарищей-обновленцев от их догматов. Побегут, галоши теряя. И куда кинутся? К властям? К пастве? Нигде их не примут. И только церковь, только старая, поругаемая ими, держащая ныне нападки белая церковь примет красных попов. Товарищ Руденский, я не стану призывать на Вашу голову анафему. Я готов принять Вашу исповедь и отпустить грехи перед Богом.

Минута тишины. И дружные хлопки. Зал снова неистовствовал.

Диспут начался в восемь вечера и длился почти четыре часа. После окончания шумно расходились, спорили, чья же победа. Сплошной гомон и взволнованные лица кругом. Ночь. Редкие моторы. Кое-где в центре горят электрические фонари, оставив газовые окраине.

На улице знакомились впятером.

– Кконстантин.

– А это Диночка и Мушка.

– Дина Таланова.

– Подснежникова Милица. Мушка.

– Вита.

– Лавр Лантратов. А мне лицо Ваше...как будто... Нет, не может быть, спутал.

– А Вы успели тогда на поезд?

Крики толпы, аплодисменты и визг, сплетаясь в какофонию, не отпустили и будоражили. Но распрощались тут же, на Ильинке. Лаврик вызвался проводить молчаливую Виту. Под охраной Костика хохотушки Дина и Милица пошли бульварами, продолжая восторгаться профилем и апломбом Руденского.

– А как же Виточка доберется в Петровиригинский? – всё оглядывалась Мушка назад.

– Не стоит беспокоиться. Она с моим другом, – Костик неожиданно для себя ни разу не сбился в словах.

– Просто у Мушки дар переживаний, – Дина рассмеялась, и отвернула подругу от удаляющейся пары.

Двое шли молча, их соединило ровное дыхание, недоумение к возбуждению толпы, общее воспоминание. Юноша старался сделать шаг короче, сутулился, смущался своей долговязости. Изумленно-радостно взглядывал на Виту: «Вы ли это? Та самая?» Лица девочки из далекого отъездного дня он не помнил. Но и теперь, как в повторявшемся сне, перед ним

всплывало лицо спасительницы – красивой дамы из экипажа. Мать и дочь несколько схожи. Будто бы сейчас и спасительница шла с ними безфонарной Москвою.

Девушка, если не поднимала головы, глаз шагавшего рядом не видела. На их пару обращивались прохожие.

– Оратор редкий, – прервала молчание Вита.

– Но, похоже, фальсификатор и краснобай, – откликнулся Лавр. – Сперва казалось, Илла-рион проигрывает даже его тени. А по сути ведь совсем не так?

– Не так. Но Руденский искренне верит в обновленчество и «Живую церковь».

– Искренне заблуждается, Вы хотели сказать?

– Он и присутствием одного слушателя вдохновлён.

– Всё равно перед кем завывать? Мне так странно видеть оскобленным священнослужителя с панагией. Обвешан цепями, а бороды не отрастил. Сверкает голым подбородком, вот так красный поп!

– Да и публика хороша. Охотники до сардонических реплик и скандальных сцен. Я и пришла-то потому, что неудобно в очередной раз отказывать. Вениамин Александрович давно просил и даже для Мушки и Дины вручил контрамарки.

– Согласитесь, он ведь ничего потрясающего не донёс.

– Действительно так. Эффектно, а на сердце холод.

И оба радовались попаданию: одни слова, одни мысли.

– А Вы впервые на него пришли?

– Впервые. Костик затащил.

– Но Вы видели, публика, кажется, в экстазе. Есть в нем что-то гипнотическое. Я давно его знаю. Иной раз он тихий исповедник. А иногда – трибун. Невероятную проповедническую силу убеждает вас в невозможном для него самого накануне. Потом замечается, тихо так произнесёт: «Христос единственная светящаяся точка мироздания». Тут вас такая тьма крошечная, непроломная охватит. А он продолжит: «И не будь той точки – гибель твоей душе. И только звезда Вифлиема во мраке встаёт над тобою».

Вита, полгода как, снимала площадь у бывшего адвоката Лохвицкого, где в соседях – Руденский. У священника собственная квартира с отдельным входом. Комната Виты небольшая, но без насекомых и имеет над парадным окно-полусферу на солнечную сторону. Недавно собирали чрезвычайный налог с проживающих. Вита отдала последние шестьдесят рублей. Задолжала плату. Теперь хозяйка – мадам Лохвицкая – требует сто двадцать пять рублей за трубу, какой пользуются все квартиранты дома. У Виты таких денег нет, и ей грозят продажей имущества или выселением. В годовщину Переворота Вита сделалась сиротой. И потом горем не казалось даже решение пролетарской власти об изъятии родительской квартиры. Ныне оставлена на год пепиньеркой при Педагогическом институте, скоро срок истекает.

Лавр не нашелся, как утешить от таких-то бед.

– Осень уходит. Я буду помнить её как особенную.

И не мог не заметить девичья смущения в ответ. И решился рассказать, как мама тогда, в ночном спешащем в Ригу поезде, подвела дочь за руку к мальчику и произнесла белыми губами: «Прими её».

Расстались, не сговариваясь увидеться, но и не ощущая расставание как долгое, вечное, невозвратное. В нынешнем времени никто не назначал свиданий, они казались невозможными.

Встреча невзначай в Политехническом – событие, из рода необъяснимых – утвердила Лавра в ненапрасности возвращения. Разве силами человеческими возможно сотворить случайность?

Казалось, прошлого больше нет.

И тут среди его безразличной действительности объявился Евс. И мир, сузившийся до размеров домика в слободке, разросся на полгорода. Затем девочка из воспоминаний возникла,

как воскресла. И мир, кажется, вновь стал безграничен, как в детстве, как до войны и Переворота. И теперь упустить её, своим появлением подтвердившую подлинность прошлого? Того прошлого, где грело дыхание матери и кормилицы, выкормившей двух младенцев: его – крепенького барчука и свое недоношенное дитя; где сухожилые дедовы руки, держали перед внуком клюкарзу и галтель, обучая столярному и плотницкому делу; где нежила залюбленность теток; где рукопожатья дядьев придавали силы; где встречающие отцовы объятия для потерявшегося сына значили: есть Бог на свете.

Спустя неделю Лавр поджидал девушку в Петроверигинском. В конце дня Вита завернула во двор из ворот, завидев рослую фигуру, остановилась в нескольких шагах. И как ребенок, чисто и ясно взглянув, серьезно произнесла:

– А я звала Вас. Что Вы так долго не шли?

«Муку с трубой» разрешили неожиданно просто: Вита рассчиталась с хозяевами «свежей» получкой и дала согласие перебраться в Алексееву слободку. Лаврик грузил вещи девушки в нанятый экипаж под молчаливым скепсисом Руденского, что с крыльца не сошел, не уступил дороги, помощи не предложил. Но недвижно стоял на верхней ступени в продуваемом северным ветром облачении, как Великий логофет, выточенный в камне.

Со дня переезда Лавр Лантратов и Вита Неренцева жили вдвоем в Большом доме, будто давние соседи. Лавр занимал отцов кабинет. Виту разместил в материнной спальне. Вита прошла по комнатам, в библиотеке среди книг по истории искусства, египтологии и философии беспомощно обернулась на Лавра, ставшего в проёме двери, светилась лицом. «Я погибла».

И каждое утро они раскланивались, встречаясь на кухне, пили морковный чай с сухарями. «А чего Вам сейчас больше всего хочется?» Вита, не задумываясь: «Пряника имбирного ёлочного...». И весь наступивший день он носился по городу в поисках имбирных пряников. Но вечером смущенно протягивал ей кулечек жареных семечек, или сушеный горох в котомочке из носового платка, лиловые кампанулы в цветочном горшке. И каждый вечер прощались на ночь, почаяевичав. Иногда за полночь Лавр подходил к двери спальни, смотрел на полоску света в щели, подносил руку к косяку, готовясь под стук костяшек пальцев просить разрешения войти. Но всякий раз, так и не решившись, уходил под зеленый свет кабинета. Иной раз подолгу сидел в нетопленной кухне и желал: выйди же, выйди искать меня!

Несколько раз замечал, как до Алексеевой слободки Виту провожает Руденский, и тогда мамина спальня наполнялась запахом роз. Розы добыть нынче не просто. Был благодарен, что девушка не приглашает неприятного человека в дом, в *их* дом. И всё же не удержался, любопытствовал: «Не понимаю, что может Вас связывать с Логофетом». Прямой ответ Виты стал неожиданностью: «Только музыка. Но музыка почти всё для меня».

А когда сталкивался с Руденским у крыльца, читал во взгляде того насмешку: а ты выйди, мальчик, выйди вечером, глянь через окно, как она постель стелет. Хотелось ударить, но ряса и скуфья неприкасаемы. *Доколе будет возноситься надо мною враг мой?* И старался быстрее пробежать мимо. Упрямо мотал головой: ничего у Логофета не выйдет, ничего. Вы ждете чудес, но их не будет. Просто так, без чудес, ничего не выйдет у тебя, Логофет, не выйдет.

А Ландыш напряженности вокруг себя не замечала. Однажды спросила Лавра: «Вам несимпатичен Вениамин Александрович?». Лаврик взял паузу. Молчание становилось неудобным и следовало отвечать. Не сумел соврать ей: «Товарищ председателя? Не доверяю попам с красной повязкой на рукаве».

В праздник иконы «Всех скорбящих радость» Лаврик пёк ячменные лепешки и ждал Виту со службы. В довесок к ячменной муке и двум ржавым селедкам он получил за работу ананас. Держатель лито-типографии Вашутин где-то раздобыл с полвоза диковинных заморских плодов и теперь торговал неспелым фруктом прямо возле переплетно-гравёрной мастерской на тротуаре. По городу объявляли следующий день не рабочим, праздничным, по случаю

третьей годовщины свержения царской власти. Новые праздники не привлекали, не радовали, но сулили амнистии. Вита всё не шла, снова задерживалась. Скорее дождаться, удивить. Но удивлен оказался сам Лавр. В дверях из-за плеча девушки выглядывала «кутафья голова»: концы шерстяного платка, повязанного сверху над лбом, свисали до глаз и даже закрывали половину щеки на чумазом лице. «Пугало» сдувало вялый конец платка с лица, держа в руках пару не подбитых валенок, да объемный узел из плюшевой скатерти, и пялилось снизу вверх на долговязую фигуру хозяина дома: погонит или впустит?

Лепешки подгорели, но вполне сошли за десерт к морковному чаю. А чудо-гостя – девочка-подросток, звавшаяся Липой, порылась в одном валенке, в другом, и вынула тряпичный сверток, откуда пошел резкий чесночный запах, разжигающий мучительный аппетит у домочадцев. Ржавенький шмат сала, с волнистыми прожилками синеватого мяса поперек, походил на пирожное от Елисеева, его резали тонкими, полупрозрачными на свет ломтиками и смаковали во рту.

Найденыш поселили рядом с кухней, в девичьей, где прежде проживали кухарка и няня. Девочка наотрез отказалась жить в гостевой спальне напротив библиотеки. Библиотека – комната без окон – пугала своей тьмой, тишиной и позолотой. Дня три девчушка не высовывала носа из девичьей, не поддавалась на уговоры выйти к чаю. А на четвертый, оставшись днём одна, выбралась-таки на кухню. Вечером вернувшиеся друг за другом Лаврик и Вита кухни своей холостяцкой не узнали. Выметено, прибрано. Под «Спасом нерукотворным» узорный набожник развешан. Столы и буфеты, по-прежнему оставаясь полупустыми, излучали тепло уюта, домашности, присутствия хозяйки. А на фарфоровой тарелке горкой грудились блинчики из гречихи, да в алюминиевой миске на печи топился засахаренный мёд.

С появлением в доме Найденыша пропали мыши. В одночасье. Лавр даже огорчился, ведь первые собеседники; а Вита изумилась и переполнилась благодарностью. Липа привнесла в дом крестьянскую упорядоченность, неистребимые суеверия, верейские протяжные напевы, рассказы о произошедшем за день – ощущение семьи. Вот только Виту и Лавра звала не по именам, а барынькой и баринькой. С присутствием третьего человека в доме между Витой и Лавром отношения стали проще, будто сложилась ширма, не дававшая прямо смотреть друг на друга. Их сблизил забота о неожиданно свалившемся деле воспитания Найденыша. Лавра лишь раздосадовало известье: приютить Липу в его доме просил Руденский. Девочка после бушевавшего пожара в Шелапутинском переулке прибилась к храму Петра и Павла, где обновленец в настоятелях. По его словам, никто из погорельцев её личности не признал. Переживая страшный пожар, когда горели бараки, и ветер гнал огонь на соседние здания, Липа забилась под церковную скамью, и после с трудом её оттуда вытащили. Сироту нужно куда-то пристроить, намекал Вениамин Александрович, и Вита вызвалась помочь. А Руденский, похоже, рад: не за чем обращаться в милицию и лишний повод увидеть Вивею Викентьевну – милую Виту.

Рояль стоял под снегом...

Сухие колкие мушки выстукивали по лакировке нестройную мелодию и, не тая, подгоняемые ветром, собирались в шуршащие нотные листы, белые на черном. Ветер листы переворачивал и рассыпал по нотам. Ноты крупинками осыпались к львиным ножкам рояля. Лавр расхаживал по залу, взглядывал в окно на рояль, надеясь: наваждение исчезнет и, убеждаясь в обратном, снова удалялся к печи; ждал Виту.

Рояль леденел.

В щель из проходной комнаты за долговязой фигурой подглядывала Липа-Найденыш. И ей непременно требовалась Вита. Где это видано, чтобы такую вещь держать на вулице?!

С час назад подъехала подвода. Грузчики сами отвязали, замкнутые тряпицей чугунные ворота. Под зычные команды споро сгрузили. Велели вышедшему на крыльцо парнишке звать хозяина, справлялись, куда заносить, спорили, отворятся ли шире входные двери, выдержат

ли вес ступени крыльца. Покуривая, передыхали, поправляли широкие стропы по плечам. И почти спустя четверть часа в перебранке разобрались: тот нескладный, что не выпускает, и есть хозяин дома, Посовещавшись с товарищами, старшой объявил: тащить громадину обратно отказываются, диспач получен. И теперь черная лакированная махина растопырилась посреди двора под снежной крупой, вызывая любопытство прохожих, заглядывающих за чугунную ограду.

– Баринька, поди тысяч под триста теперича стоит... – донеслось из дверной щели.

В ответ молчание.

– А на Хитровке так все триста пятьдесят...

– Липа, ты арифметику доделала?

Как на зло, всё не шла Вита, задерживалась в своем Педагогическом. В ожидании, будто намеренно, отодвигался момент истины. Откуда могло взяться такое дорогое приобретение? Не по ошибке ли к ним? Не добившись от лямочников имени отправителя, Лавр подспудно чувствовал неприятие, предубеждение к инструменту. Потому никак не мог унять раздражения и сердился сам на себя. А снег всё сыпал не благостным черемуховым цветом, а шел по косою, злой и колючий.

Понятно, не дело оставлять дорогую вещь на ночь под открытым небом. Но и забирать в дом чужое не годится. Когда стемнело, оделся и вышел на перекресток к лито-типографии встречать Виту. Черные купола храма Илии Пророка слились с небом, звезды куполов смешались с звездами небес. Отдельные деревья соединились тенью; и подножье церковной горки казалось сплошь заросшим бархатистой лесопосадкой. Через четверть часа вернулся: не упустил ли.

– Дома Вивея Викентьевна?

– За ту бандуру можа две пары калош выменять. Два пуда пшеничной муки взять! Две пары сапог! Чичас подметки стоять пятнадцать тыщ. Вот те и арифметика!

– Триста тысяч за инструмент это еще с натяжкой объяснимо. Но рояль за калоши?! Несопоставимо. Катастрофа!

– Вот калошу потеряешь – будить те катастрофа!

– Дома?

– Кто? Барынька? Нету.

Снова бродил на ветру и под снегом. В переулке мелькнула женская фигура. Лавр бросился наперерез и напугал даму; та, вскрикнув, прижала ридикюль к груди, а потом быстро-быстро вдоль церковной ограды засемила к переулку. Лавр прошелся до Горбатого моста. Ручеек Таракановки жил под мостком, беззвучно струя свои воды. Когда, продрогнув, зашагал назад, разглядел подошедших с другой стороны ворот Виту и Руденского. В глубине двора справа от крыльца горело окно. Свет комнатной лампы через стекло опрокинулся вытянутым листом на запорошенную поверхность рояля. Когда Лавр подошел ближе, Руденский прощался. Поцеловав руку Виты и выпрямившись из полупоклона, едва кивнул подошедшему.

«Оскобленный. Священник, а бороды не носит».

Как сразу они не понравились друг другу, и впредь то ощущение неприязни сохраняли. Все встречи с самого начала до странности тяжелы обоим. Мужчины не скрывали своей нерасположенности, что искренне огорчало девушку. Проводив взглядом уходящего Логофета, Вита и Лавр вошли во двор.

– Как же я скучаю от бесцельной, рутинной, надуманной работы. Я выцветая, линияю, высыхаю мумией от окружающего скудоумия, отвратительной житейской будничности. Эта служба на кафедре непосильна и убийственна бесконечными агитирующими собраниями. От осуждения очередной жертвы меня обдаёт мучительным жаром. Мне хочется дела, настоящего дела вне института. А не диспутов, где все люди, словно пронумерованные кули из рогожи.

– Вы знали о нём? – Лавр остановился возле продрогшей громадины.

– Вот и первый снег... Милый, милый, Вениамин Александрович! Он все же исполнил свое обещание, – Вита с нежностью вела ладонью по плавным линиям крышки рояля. – Верите? Я не просила.

– Так завтра же вернем ему!

– Ни за что.

Оба упрямо склонили головы. Встали на крыльце, не проходя в дом, и стояли, как будто, не договорившись, нельзя переступить порога. С тюком садовых рогож в руках из дверей выбралась Липа. Вита и Лавр посторонились, пропустив Найденьша, и прошли друг за другом в открытые настежь двери. Разошлись по разным комнатам. Казалось, нечего обсуждать.

Вита сидела в темной зале, не зажигая свечей. Лавр расхаживал по кабинету. Зеленая лампа ярко освещала столешницу с бумагами и угол этажерки. Из кухни не долетало ни звука, также, как и из комнат. Липа бесшумно перемещалась возле плиты, прислушивалась – кто ж так сварится? Вот, бывало, у нас в Верее... Когда раздалось покашливание в проходной библиотечной, Вита быстро поднялась. Под скорый громкий шаг и дверной стук сердце Лавра ухнуло куда-то вниз, как камень-голыш с обрыва в воду. Что же такое происходит? Вот так узнаешь новое в себе самом: появился самый важный для тебя человек; и душа твоя полна возможным.

К вечернему чаю никто не вышел. Липа подождала до десяти. На цыпочках пробралась в полутемные комнаты, постояла под дверью кабинета. В щель сочился зеленый свет. Слышались шаги. «Шагаить. Знать, маятси, гоголистый; ой, бяда, бяда, да так яму и надо, гордючему». За дверью спальни ни света, ни звука. «Лягет поране нынче, исть, умаялась в своих институтах». Липа еще раз взглянула в окно на сугроб из рогож и пошла к себе. Вслед ей близко ударил гонг. Охнула, схватившись за сердце, кулаком погрозила в темноту. Громоздкие напольные часы, каждый раз заставая врасплох, густым боем пугали ее до икоты. Куда больше приглянулся барометр с фигурками; там баба пряталась в дом, а мужик выходил из дому или наоборот. Фигурки казались потешными, как артисты в ярморочном балагане.

У себя в девичьей Липа положила на пол лоскутный подрушник, взяла лестовку в левую руку, встала на молитву и, отчитав вечернее правило с земными поклонами, загасила лампадку. Сон к Липе приходил сразу и обрывал мысли о жизни в новом углу, светелке-девичьей, о Верее, о...

В доме не спалось двум людям. Девушка отошла от светлого сияния окна в глубь неосвещенной комнаты, как исчезла, растворившись в темноте. Юноша всё шагал и шагал по сосновому паркету, то включая, то выключая зелёную лампу. Потом замер у окна.

Радоваться.

Молчать.

Целовать.

Сухие ветви сирени чертили грифельные линии по оконным рамам. От каждого шороха на дворе что-то менялось в доме и лице человека. Под едва слышным в комнатах ветром лунные блики и тени скользили по пальметтам, разбросанным на обоях. Острое ощущение ночи на целой земле, прихода первого снега, зимы грядущей, присутствия Хозяина миров, спасения грядущего и возможного, близкого счастья – все теперь находило место в душе человека, смотревшего в окно, и торжествовало.

Радоваться.

Молчать.

Целовать.

5

Больше, чем жизнь

Лавр, счастливый собственной внутренней откровенностью, вышагавший решение, к полуночи почувствовал сильный голод. Не зажигая свечи, прошёл на ощупь тьмою комнат и светлой лунной верандой. У окна кухни застал шупленькую фигурку, всматривающуюся в укутанный белой шерстью и засверкавший, как праздничная зала сотнями свечей, сад.

– Отчего света не зажигаете?

– Взгляните, как мир умеет меняться! Такую радость природа дает человеку даже в городе, уму непостижимо.

– Да, под снегом всё знакомое в миг становится неузнаваемым. *Придите и посмотрите на дела Божии, какие Он соделал чудеса на земле.*

– Вам тоже не хочется спать?

– Ни капельки.

– А я ведь совсем не знаю здешнего сада. Что там торчит, как Иван Великий?

– Груша Таврическая.

– Она безупречна. А вот те силуэты луковичные?

– Яблони-семилетки.

– Они торжественны.

– А за ними вишневые посадки, отсюда не видно.

– Люблю старинные сады.

– Я Вам непременно сад покажу. Давайте-ка чай пить.

Лавр зажёл свет. Угольная лампочка, зашипев и накалившись дугою, ровно засветилась.

– Ох, как ярко. Теперь сад смотрит на нас.

– Пятисвечовая.

– Должно быть, Липа рассердилась. И попадет же нам утром.

– Смотрите, у нее тут пшеник остался.

– Как с арифметикой?

– Удивительное дело! Простейшие упражнения ей не даются. А в нынешних ценах на базаре она разбирается лучше любого маклера.

– Ой, говорят, цены меняются в один день: вечером совсем не то, что установлено утром. Я бы на рынке завалила экзаменацию. Вы заметили, дитё неприметно взяло над нами верх?

– У нее всё само собой получается, играючи будто. Её все сковороды и ухваты слушаются. Держите чашку. Самовар не остыл.

– И себе берите.

– Давайте сахару наколю.

– У меня такая усталость, а сон не идет. Сегодня на кафедре снова терзали фракционными собраниями. Насилуют вынесением нелепых резолюций. Двери на засов, в сторожах одиозная личность мужланистого типа. Не вырваться! Мне стали в укор ставить постоянное мое сопротивление. И действительно, я часто оказываюсь одна из воздержавшихся. Иногда Бьянка Романовна Таубе со мной в отстающих, наш преподаватель словесности. Сегодня снова кого-то за что-то осудили. А потом оказалось, трамваи стоят. Вениамин Александрович предлагал взять извозчика, я заупрямилась и напрасно. Продрогла и утомилась хуже.

– Простите меня.

– ...Вы просто к нему не объективны.

– А Вы?

– Он другого мира. Но он заботливый мой спаситель. Пейте, совсем остынет. Хотите, я расскажу Вам про своих?

– Я и сам хотел Вас просить. Добавки?

– Пожалуй, нет, фу... Пшеник ведь... с мозгом?

– Со смальцем. Буржуйские штучки. Ешьте, не то ослабнете!

– Вы правы, мы стали буржуями, хотя прежде ими не слыли. Мы стали чужими, отвергнутыми. Вас ведь тем октябрем не было в городе. А Москва и сейчас не оправилась. Но три злосчастливых года вспоминаются мне как эра падежа и мора.

– В Лифляндии так о нас и говорят: дикое русское Средневековье.

– Не страна, а кладбище разбитых надежд.

– Расскажите о своих.

– Моя семья по отцу из опочицких, из скобарей. Дед моего деда – сапожник. А бабушка, когда закончил уездное училище, перебрался в Москву. Папа – кадровый офицер. Мы с родителями жили в Печатниковом переулке, во владении Сысоева. Я там родилась.

– Дом с кариатидами?

– Они прекрасны, правда?

– И ведь не так далеко от Сухаревой башни. А там до Аптекарского огорода рукой подать. Бывали в Аптекарском?

– И сколько раз бывала! Там библиотека хорошая. Читали на диванчиках под пихтами.

– Значит, мы могли видеться до встречи на Виндавском вокзале.

– Чтобы пройти мимо и теперь познакомиться... Как странно, как странно... Там в Печатникове мы прожили почти до моих четырнадцати лет. А после папа взял квартиру в доходном доме в наем у страхового общества. Как мы с братиком противились переезду на Сретенский бульвар! Привыкли у нас в Печатникове к крошечному собственному садику, тишине переулка, к церкви Успения на перекрестке. Я иной раз туда заходила, брата водила, сама не заходила, не положено.

– Вы старой веры, стало быть. Нашей.

– Как алтари распечатали, мама снесла меня в свою церковь – крестить старым обрядом. Отец, узнав, долго сердился. Но он очень любил маму. Простил. Грозился с другим ребенком не уступить. Народившегося брата в никонианском храме крестили. Так и прожили родители не венчанными. Ни один поп не соглашался их венчать. Разве через миропомазание.

– Через отречение?

– Но никто из них не захотел отречься. На Сретенке мы скоро прижились. Гуляли бульварами, ходили в Художественный театр. Я стала брать уроки музыки. Пальцы мне ставила мама, лет в шесть. Как мамочка играла! Я – нерадивая ученица, жалкое подражание. Но музыка и мне сослужила службу. Уроки у madame Сиверс примирили меня с нашим новым домом. Появились добрейшие соседи Окуневы, Авиловы, Меньшиковы, Жиркевичи, Чуковы. В парадном и во дворе кто-то куда-то следовал, напевал, раскланивался, беседовал. И всё так по-доброму. Всего-то несколько улиц, а будто в другую Москву попали. Вероятно, прежнее, милое, не сможет вернуться никогда. Квартира за номером тридцать три просторная, в семь комнат. Наша Марфинька, прислуга, довольна осталась, так как портной и обувщик прямо внизу мастерские открыли, ходить недалеко. На Сретенке у меня быстро появились подруги.

– Дина и Мушка?

– Запомнили? Семья Подснежниковых тоже арендовала квартиру. А отец Дины Талановой работал в управлении страхового общества, и они имели служебную площадь. Знаете, сейчас эти гарднеровские чашки напомнили мне чаепития в нашем доме. Ещё мир, ещё свет... Но разве через вещи можно вернуть утерянную жизнь?

– Можно попробовать. Но эти чашки кузнецовского фарфора, не гарднеровского. Матвей Сидорович своё стал делать, как завод у Гарднера выкупил. А клейма старые оставил.

– Знаете, наша Марфинька из кузнецовских «фарфоровых невест». Её в Ликино-Дулёво сватали. Но муж на фронте погиб в 1914-м. И она через дальнюю родню в город выписалась. Братика моего, Алика, любила, как если бы своего ребенка. Мы хорошо жили, тепло. А теперь мне холодно...

– Я разожгу плитку, и Вы согреетесь.

– Вряд ли. Когда же пролегла та черта, отрезавшая жизнь от мира? В феврале? В октябре? Мы не разобрали сразу. Все пошло ужасающими скачками. Временное правительство, эсеры, анархисты, кадеты. Большевиков ждали. Их приняли. Но что стало с нами? Ещё вчера мы слишком счастливо жили. Слишком солнечно жили. А теперь потухание света... Исход.

– Верно. Слишком счастливо жили и не знали того. В одном мире и гибель, и спасение. Но на каких путях люди не погибали?.. *«Дайт Он снег Свой, как белую шерсть, мглу, как пепел, посыпает».*

– И знаете, все вдруг полюбили войну. Именно вдруг. А мы вот не поменялись и не понимали, как войну полюбить. Страшились будущего, а не знали, как оно близко и неотвратимо. Когда объявили об отречении Николая, возникло предощущение немислимого. Я тогда оставалась на занятиях. За мной и ещё двумя институтками прислали инспектрису. Кто-то из прохожих пожаловался: девушки выглядывают в открытые окна. Нам хотелось обновления, весны, ветра свободы. Вызывали по одному. Я трепеща вошла в кабинет начальницы, готовилась выслушать нагоняй. А ей тут сообщают: Император отрекся! Мы обе заплакали от неожиданности и почему-то обнялись. Прибежала домой, у нас работали полотёры. Кругом разгром. Я собралась бежать к Мушке. Тут неуверенно отец возвращается из Хамовнических казарм с такой-то новостью – Император отрекся! И жалко Самодержца, и стыдно за него. Ведь в газетах столько ереси в его адрес. И в храмах из общих молитв тут же ушел зов: «Императору споборствуй». С тех-то пор всё понеслось ужасающими скачками, невероятными скачками. Папа служил в действующей армии, и вторая революция застала его полк в Арзамасе. Перевоорот. Отец так далеко-далеко. Обрушение прежнего. Пришлось продумывать всё до мелочей за себя, за растерявшуюся маму, за братика, даже за Марфиньку. Знаете, понимание, что теперь ты за всех вполне меняет человека. Прежде не жила для окружающих. Просто любила жизнь, беспечно любила жизнь. А тут я стала страшно самостоятельной, слишком самостоятельной. Я не позволяла себе ни ропота, ни безделья, никакого уклонения от бытовых дел, хотя бы по присмотру за Аликом или по уходу за собственной комнатой.

На этих словах Виты свет под потолком кухни задрожал и стал зримо слабеть, пока не истончился вовсе. Лавр от горящей плиты поджог две свечи и расставил их на столах: кухонном и столовом. Ту, что на кухонном, поднял ещё табуретом выше вверх, и тьма ушла под потолок; воздух колыхал пламя фитилька, впечатывая тени людей в стены.

– А вот и потухание света... Но как здорово Вы придумали с табуретом!

– Церковные свечи станем жечь. Липа говорит, дешевле.

– Вот и нам сад виден, и мы саду.

– Как хорошо Вы улыбаетесь!

– Мне казалось, я разучилась улыбаться. Марфиньку мы дважды в год отпускали к родным в Дулево, на побывку. И когда она в октябре возвращалась обратно, то попала в самый разгар. Москва была осатанелой, красной, шли бои и никакой возможности передвигаться по городу. Пришлось заночевать у семьи единоверцев в Кусково. И на следующий день она лишь к вечеру пробилась к нам. Мы жались втроем: я, мама и Алик. Расстрел города. И тот приезд Марфиньки случился как нечаянная радость. Её несколько раз обыскивали, допрашивали, требовали пропуск. Она отчаялась пробраться на Сретенку. Казалось, в городе встали все часы. Говорят, и на Сухаревой башне, и на Почтамте часы внезапно остановились на одном и том же времени: одиннадцать с четвертью. Вскоре с Сухаревой герб сбили. Русский герб, петровский. Вокруг ругали Керенского, преображенцев, семеновцев, кадетов и юнкеров, казавшихся

прежде такими надежными защитниками и так запросто отдавших город. Потом мы узнали, юнкера самоотверженно защищали Кремль, телефонную станцию. Знакомые знакомым передавали слухи о стычках офицеров и дворников по всему городу. Не странное ли противоборство? Дворники выдавали прячущихся по аркам и подворотням. Мы ждали отца, сердились, не понимая, что здесь ему появляться чрезвычайно опасно. У соседей мужчины спали одетыми по ночам. Все ожидали нехороших дел. А нас и защитить некому. Слухи опережали события. На Мясницких воротах загорелись склады интендантства. В цирке Саламонского арестовали Бима и Бома.

– Клоунов? За что же?

– За политическую сатиру. Говорили, будто Бим вышел в представлении и сел молча; сидел-сидел, молчал, подошел к нему Бом спросил, почему сидит; тот ответил: «Жду Колчака, и вся публика ждет». Взяли прямо на арене. Потом следующее потрясение. В Петровском парке публично расстреляли священника Иоанна Восторгова. Подробности так жутки, мы с мамой не спали несколько ночей: искупительная молитва над ямой, и заламывание рук, раздевание донага и дуло в затылок. Последние слова протоирея «я готов» долго не шли из головы. И то в наше время?! В двадцатом веке? Будто инквизиция. Будто при римлянах.

– Не слышал того случая.

– Где уж... Газеты почти обошли. Марфинька рассказала, на Сухаревке в базарных рядах продают зубы в золотых коронках, от убиенных. Мама не могла больше играть. Садилась за инструмент, мы с Аликом пристраивались рядом. В семье так любили минуты общего уюта: мамыны ласковые взгляды на нас, улыбка через плечо, наши просьбы сыграть пьесу или элегию, папин восторг, как он смотрел на нее, когда она играла! И Марфинька в дверях, вытирающая слезы передником, всё спрашивала: как черно-белые деревяшки дают обмякшее сердце. Так проникающе действовал мамин дар, временами хотелось аплодировать, временами плакать. Но теперь мама нервно брала пару нот и захлопывала крышку. И в то же время музыка не оставляла ее, не давала покою. Знаете, иногда, чтобы вынести жизнь, нужно иметь в себе внутреннюю музыку. И вот она стала убывать у мамы, при том мучая. Мука, терзающая вас, когда вы не помните чьего-то имени, забываете мысль, только что промелькнувшую, – мука схожая, но менее изнуряющая, менее изводящая. Я не сильно утомила Вас? Так поздно...

– Что Вы! Жалко времени на сон.

– Знаете, мы не были одиноки. Соседи заглядывали и рассказывали новости о рискнувших выходить на улицы. О, новости отважных! Как мы ждали их! Всё казалось, вот сейчас придет белый рыцарь и спасет, и расколдует город. И нас освободит из-под морока. Хотя мы-то не спали. Мы никогда не очаровывались. Но сколько вокруг нас оказывалось омороченных и перебежчиков. И не явился нам герой. Ясный Сокол. И город сдался. То и дело где-то слышалась стрельба. Но очень скоро установилась тишина, страшная тишина, окончательная тишина. Вот тогда мы и поняли – большевики взяли. Никто из наших не загадывал, что красные разыграются так сильно и так бурно. С тех пор я перестала любить новое и красное. А Советам всё дай обновить: и имена, и улицы, порядки, крови и жизни. Коренной москвич прощался с Москвой. Малая Алексеевская назначена в Малую Коммунистическую, Третья Рогожская стала вдруг Вековая – навек пришли, Девкин переулок – Бауманским, Дурной проулок – Товарищеским, Архангельский – Телеграфным. И до бесконечности... Пусть старые названия неблагозвучны, зато исторически верны и заслужили, чтобы их помнили. И все старые в разноголосицу. А нынче кругом одни Советы. Они хотят давать имена всему.

– Старые погудки на новый лад. Простите, перебиваю – сердце туда к вам рвётся. Говорите, говорите, что же потом?

– Когда я все-таки выбралась из дому, меня поразило обилие красного. Переизбыток одного цвета без примеси иных становится пошлой безвкусицей, отвратительной казенщиной. Красные флаги. Красные косынки. Красные костры. Красные лужи...

– Лужи?

– С кровью, разумеется. Мы с Мушкой и Диной отправились к Кремлю. К Иверской и Блаженному тянуло более всего. Встречалось много людей с красными бантами на лацкане. У Кутафьей и Боровицкой разъезжали конные, охраняющие входы. Стояло оцепление. Ворота заперты. К Иверской не пустили. Образа её под тряпкою с лозунгом «Коммунизм – могила проституции». С Моховой площадки вытолкали во дворы к «Дому священника». Там шлялись пьяные, расхристанные солдаты. Мы с Мушкой старались скорее выйти из дворов снова на простор, Дина же бранилась с теми солдатами. Забавлялась. Видели стены, посеченные пулями. Много разбитых витрин, толченное стекло, мёртвый хруст под каблуками. Так и не смогли убедить, правда ли сбит один из крестов на Блаженном и изувечена башня на Никольской у аптеки Феррейна. Говорили, будто у Беклемишевской верхушка снесена. Дина вскоре догнала нас. Бродили кругами, пытались приблизиться переулками. Не пускают. После вышли к Сре-тенскому монастырю. И домой, домой. В волнении, возбужденные, казавшиеся себе смелыми, взрослыми. Господи, три года назад мы совсем барышни! Ничуть не береглись. И ничутьючки не трусили. Молодость не рассуждающая, ищущая, бесшабашная.

– А теперь Вы научились беречься?

– Напротив. Даже более всё равно. Нет-нет, я не выставляюсь. Просто всего столько пере-чувствовано. Да и сейчас в Москве неблагоприятно. Кажется, у большевиков получилось: мы стали сравнивать с худшим. Знаете, когда в первые дни революции начало пропадать электричество, сперва на час, после на полдня, потом на несколько дней, то его появление всего на четверть часа воспринималось, как манна, как благодеяние. Когда ток отключили впервые, весь наш дом будто обезумел. Все повторяли «Георгиевская станция встала». Прислуга передавала слухи с этажа на этаж: коли нет тока, то и воды вскоре не будет. Массовый психоз захлестывает и разумных. Мы бросились наполнять водою все, что можно наполнить: и ванну, и тазы, и вазы Галлэ, и ночные вазы. Говорят, у Чуковых даже цветы из горшков повыдергивали. Воду так и не отключили. А появившееся электричество яростным светом разбудило нас ночью, освещая всю квартиру, как к празднику. В зданиях завелись домовые комитеты и сразу же установили дежурства, что так нелепо. Профессор Жиркевич, должно быть, никогда ничего тяжелее лупы в руках не держал. Теперь же ему, как дежурному, выдали маузер для патрулирования в ночные часы. Его жизненный опыт не помог бы пресечь ни натиск революционной бригады, ни набег бандитов. Собственно, и отличить одних от других довольно сложно, одинаково карако-зят. У нас в семье не имелось взрослого мужчины потому мне или матери вменялось встать на учет в домкоме для иных работ, помимо патрулирования двора. Я, с трудом представляя, чем пригожусь, записалась у товарищей, потому как боялась за маму, ее нервы и пальцы. Ей необходимо беречь руки и ежедневно укреплять пальцы. И любая трудовая повинность могла необратимо навредить ей, как пианистке. Знаете, меня с детства отучали говорить взхлёб и громко. Но я боюсь не успеть рассказать Вам.

– Сейчас нет ничего важнее. Я не уйду. Говорите.

– Несчастные родственники забирали своих мёртвых и с той, и с другой стороны. У Анатолического театра в Университете, по слухам, выстроилась невообразимо длинная очередь. Товарищей потом хоронили открыто, помпезно, в кумачовых гробах, а юнкеров – почти тайком, отпевая ночами. Мы поминали *наших* дома. Свет теперь давали днём, когда он не нужен. А вечером, когда зажигать, его прекращали. Абсурд ломал сознание. Алик просился в Успен-скую церковь, но, если бы мне там отстоять на службе, потом каяться на исповеди о вхожде-нии к никонианам. Я взялась попробовать отыскать его восприемника, он капельмейстером служил в полковом оркестре. Точно знала, с полком не ушёл по здоровью. А как не вышло, просила Мушку об одолжении: сводить Алика. Дина всегда бравировала, что не крещена. В городе закрыли электрические театры, потом бани. Мы задавались вопросом: чего больше

боится красная власть, грязи кино или чистоты Сандунов? Я мало Вас знаю. Но, кажется, могу рассказать всё, всё. Так не бывает?

– Так бывает. И я, кажется, могу говорить с Вами обо всем.

– Вот нынче три года русской революции, а мы ещё живы. Край, невыносимость? Нет! Жить можно. Но в полнакала. А за три года видели мы чудное и страшное. Верблюдов видели, вместо коней запряженными в телегу. Человеков видели на ходулях, не скоморохов ярмарочных, а вроде привидений, в холстах бучёных. Трамваи мёртвые видели. Трупы собак околелых. Припорошены, а убирать некому, дворники разбежались. Под окнами гармонь ревет и пьяные бьются в кровь, революционная свадьба у них. В ювелирной артели принялись картошку продавать. Аптеки национализировали. И кожанок много объявилось. Кожаные по городу ходили свободно, впрочем, как и сейчас. Сами видите. Носились на моторах, как бешеные. И гипсовая неразбериха. Скульптурная эманация. Дурновкусие. Всюду футуристические изыски. Моветон. Потом приверженцы новизны принялись за храмы. Рассказывали, священник в Успенской церкви за зиму восемнадцатого ни одного младенца не окрестил. Ни одного! На службы древние богаделки ходили да любопытствующие заглядывали. Ни проповедей, ни разговоров о Спасителе. Товарищи за ненадобностью ликвидировали сам храм и в колокольне его кинематограф открыли. В церкви на Апухтинке сделали склад продуктовый. Марфинька там капустой квашеной разжилась. И говорила, стыд-то какой: из бочек запах закваски идет, бурление, зловоние по амвону расползается. Мы не смогли ту капусту есть. Снесли на рынок. В церкви Рождества Христова устроили «забегаловку». В богадельне на Ленивке – «Мосаттракцион» завели. Под зиму в Николо-Ямском часовенку под пивную сдали.

– Русская жизнь. Падение снега и нравов.

– Мама твердила: «Тронули Церковь, теперь гибель не устранима. Прости им, Господи!». Мама будто бы нервной болезнью занемогла, психически ослабела. Таланов, отец Дины, заходил к нам с новостями и сердчал на маму: «Их простить?! Возмездие требуется, а не прощение! Приход Советов не глупенький фарс, а трагедия. Да-с». И Марфинька перепуганной с улиц возвращалась. А однажды пришла и ревет так, будто с похорон. Полчаса билась с ней в кухне, пока разобрала. Оказалось, у Сретенского монастыря наступила она на косу с голубой лентой и куском кожи... Валяется коса в луже присохшей крови. А хозяйки и след простыл: жива ли, мертва ли – не узнать. Криптия. На Кучково поле подводы тащатся с покойниками. Катафалки все в цветах: значит, военных везут. И так много их, в очередь мёртвые становятся. Кровавый карнавал. Закапывают без устали. А то и сжигать стали.

– Да, как же? У нас же не принято огненное погребение?

– То у нас.

– До нас доходили новости о красной Москве. Но так чудовищны они казались, их даже принимали за газетные утки и мало верили.

– Жизнь страшнее слухов. И необратимей. Арку Триумфальную разобрали. Говорят, полотно Бородинской панорамы свернули в огромный рулон. Из холста его собрались рубахи шить. Декреты пеклись как литографии. Каждый день какой-нибудь запрет. Вдруг обложили налогом швейные машинки. К чему? Свезла Марфинька нашего «Зингера» на торги. Плакала. Авиловы не успели продать свою. Их старуха отказалась машинку сдавать. Так старуху арестовали на трое суток за оказание сопротивления при реквизиции. Потом обложили рояли на сто рублей. Рояль на рынок не снесешь. Удивляться уже не получалось. Заплатили. Но мама за него больше не села. Потихоньку квартира пустела, освобождаясь от вещей. Сперва мы ели этажерку, потом гобелен, потом письменный прибор, потом Пушкина, собрание сочинений в золотом переплёте... А к зиме дрова встали нам по пяти сотен за пуд, камин растопить – мгновенное разорение. Говорили, на Чистых прудах в гимназии Винкера кто-то умудрился добывать топливо из самого здания: подпиливали стропила, подпиливали, крыша и рухнула. Господь спас, обошлось без мертвецов. Но гимназию вынужденно закрыли. Ещё летом восем-

надцатого папа отступил к Нижнему Новгороду. У нас прервалась с ним всякая связь и кончилось денежное вспомоществование от полка. Мы пили пустой чай на ночь. Алик постоянно ходил голодным, рост ребенка требовал свое. Холодовали. А у меня ослабели желания. Ужас без конца, без конца, без конца. От всего происходящего мечталось лечь и не двигаться. Лежать и дышать тихонечко, чтоб только никто не трогал. Лежать и дышать.

– Господи, Господи... А я ведь в тот год янтарь по берегу собирал, заплывал за буйки и ел дыни.

– Не вините себя. Вы им там нужны были. А я здесь нужна. Маме не вынести опрокидывающей новизны. Вы бы слышали, как женщины в очередях заговорили. Там теперь все вперемишку: и бабы простые, и прислуга, и барыни бывшие. Каждая за свою семью бьется. Но так озлобленно, по-сатанински. Открыто ярятся. Набросятся бабы на какую-нибудь курсистку, шляпку с головы содрать готовы. Дозволь, так и скальп снимут за пачку соли. Знаете, холод и голод очень быстро производят человека в животное. Твои руки делят картошку на четыре порции, а твои мысли выгадывают, как бы картофелину покрупнее себе заполучить. Как бы подчистить языком кастрюлю, тарелку бы облизать. Так страшно в себе ощутить животное! Так позорно и так противно. И тут совесть защиплет как рана. И ей на помощь призываешь философию. И оправдание всегда под рукой, вот тут под ладошкой. А оправдание себя страшнее чувства голода.

Лавр взглянул недоумённо, но промолчал. Видел выгнутую, напряженную шею. Для неё всё всерьёз, не красуется. Обнажается, а он ведь не исповедник. Но почему ему так больно сейчас от слов и вида выгнутой детской шеи.

– Большинство знакомых наших уехали. И Авиловы, и Чуковы, Жиркевич тоже. Мама стояла против отъезда. Нам отъезд казался бегством. Если бы знать тогда, если бы знать! Я сама бы первая стала собирать чемоданы. Дом наш – страховое общество – невероятно менялся и пустел. Страшные зияющие окна. Столько прекрасных, благополучно устроенных вчера людей внезапно оказались приговорены к трагическому концу. Но пустующие квартиры тут же заселялись. Появилась стайка разукрашенных женщин и их наглых кавалеров. Каменный двор наполнился чужими, резкими звуками, будто птичий рынок. Дом заселяли деловитые, бравые персонажи, не гнушавшиеся пользоваться обстановкой съехавших. Помните, *вот эти грешники – и процветают они, навек завладели богатством.* Так и вышло. Полярность стала заметна пуще прежнего: печальный и растерянный – из бывших, бодрый и предприимчивый – из нуворишей. Двор кишел и плодился. Наполнялся новой жизнью, что вытесняла все старомодное и где нам стало тесно. Не находить себе места, когда вокруг всем так весело. Весёлый ужас, что за парадокс? Ты доверился отечеству и не отрекся от него. Но отечество записало тебя в пораженцы. И всё же мы не жили, выживали. Саровские щи и кулеш стали за счастье. А иной раз Марфинька расстарается, и Алика, и маму балует: то блинов напечет с селедочной икрой, то лазанки наделает, то супу с клёцками наварит. Но такие деликатесы больше по праздникам. А вечерами всё больше пустой, голый чай. Поначалу листовую заварку имели, а как перловский чай вышел, на морковную перешли. К чаю-то грибов векошников бы или сыру губчатого... Ах, негоже впустую мечтать.

– *Уходящие уходили и плакали, бросая семена свои.* Отчего так быстро уступили? Почему сдались?

– О том теперь не говорят. Приказано забыть. Остатки Русской армии разгромлены в Крыму. Последние надежды разбиты.

– Почему Вы шепчете?

– Не знаю. На службе о таком шепчут.

– Я не воевал. Не вправе осуждать... Но я не признаю правоту красной власти. Так вот, поражение наше кажется мне закономерным. Люди приняли Советы, как кару. Страх возмез-

дия склонил народ. *События должны идти, творя свой суд, придут, уйдут.* Не человеческая то драма, а Божья.

– Но будет ли предел, какого не перейдут? Будет?

– *Вдову и сироту умертвили, и путника убили. Они, как трава, скоро засохнут, и, как свежая зелень, скоро опадут.*

– А разве можно теперь жить прежней жизнью, скажите?

– Можно. Так и будем жить.

– Нет, Лавр, нет. Не получится, как раньше. Вот папа канул. Я сперва верила в его возвращение. Истова верила. А другого и не имела. И ничего. Три года ничего, понимаете?

– Понимаю.

– Столько времени живые не молчат. Так молчать могут мёртвые. *Сердце мое оставило меня.* Болею сердцем о папе, как закончилась жизнь его? Зимой восемнадцатого стало нам совсем худо. Да и следующая зима не легче. Мамин кулон с бриллиантами, папины запонки и портсигар снесли в ломбард. Часы каминные сдали в антикварный магазин Ерыкаловой. Я потом возвращалась в Леонтьевский, ещё разок взглянуть. Но их быстро купили, старинная французская вещь из черного мрамора. Там на подчаснике танцовщица медная сидит, на Диночку похожа. Вырученное позволило бы продержаться до марта. И что же? До лета, до фруктов далеко. Мама то бормотала, то напевала, но мне в том виделись большие признаки отчаяния и нервной болезни. Когда прежде мама играла, вокруг нее становилось так чисто, возвышенно и свободно. Теперь – страшно. Алик часто плакал. А мама как зайдетса смехом, запрокинет голову с тяжелым пучком, выгнет шею и хохочет в полный голос: «Закровоточила Русь-матушка! Злочинники! Еретики! Запах мертвщины слышите, слышите?». И злобно так глазами сверкает. И страх наш видит. И пуще заходится. Ох, говорю Вам, а память и сейчас обновляет прежний страх. Марфинька уйти грозилась. Да я не отпускала. Диночкиного отца арестовывали чуть ли не каждый день.

– За что же каждый день?!

– По утрам он таскал воду своим и нам, значительно опаздывал на работу. Тогда водопровод встал. За каждые пятнадцать минут опоздания его арестовывали на час. Иногда он сидел под арестом до десяти часов вечера. Тогда всех нас настигли снеговые повинности. Зима поначалу сиротская выдалась, а к Рождеству морозы встали и снегопад не прекращался до Крещения. Дома, как в проруби. А прорубь – в Лету оконце. Крещение – это связь человека и Солнца. Выпадало всё одно к одному. Город замер. Москва, полуголодная, залегла в спячку. Всюду лёд колотый глыбами, зажоры. Приходилось счищать снег с мостовой на тротуары. Я, честно говоря, еле управлялась с лопатой. Бригадир злился. А когда лопата сломалась, вознамерился с меня удержать. Я изнемогла в старании раздобыть новую, да так и не нашла листовую.

– Должно быть, снеговую или совковую?

– Должно быть. Лопаты и пилы не достать. Едва спал снегопад, новая напасть: объявили государственную монополию на золото. Запрещались изделия свыше шестнадцати золотников. Помещённое в банк, реквизировалось, а что на руках – всё попрятали. Но нам прятать нечего, всё ушло на пропитание. Я училась. Мама работать не могла. От отца ни слова. Очереди выбивали из равновесия. В «хвостах» мы с Марфинькой стояли попеременно: не выпустишь маму, ещё чего лишнего наговорит, не поставишь и Алика – все же ребенок. И стояние по два-три часа за хлебом зарождало в моей голове какое-то веретено безнадежности, что неостановимо крутилось. И на лицах рядом тупое оцепенение. В одни руки давали не более двух фунтов чёрного, а белым и вовсе не торговали. Теперь Марфинька самовар ставила льдом. Притащит глыбу, наколет. Вот вам и чай готов. Прибежишь с мороза, а в квартире не согреться: всего-то градусов десять тепла. Чуть теплее на кухне у Марфиньки. Алик и не выходил оттуда, мешал ей стряпать. Мы все превратились в каких-то оперных героев, персонажей «Хованщины» или «Бориса Годунова». Вытащили из сундуков забытые салоны и кафтаны, ходили дома в фуфай-

ках, валенках и перевязанные платками. Поначалу ненавидела себя за такое пораженческое допущение. Но холод берет своё: в салопе жизни больше.

– Вы очень красиво улыбаетесь.

– Grimасы души. На смех нету сил. Да смех скоро стих в нашей квартире. Мы стали тихо разговаривать, совсем тихо разговаривать. Словно в доме тяжело больной. Даже мама прекратила свои стенания. Иногда я ловила на себе её сочувствующий взгляд, полный любви и беспомощности. Но чуть я заговаривала, она каменела, уходила в оцепенение. Так почти молча провели Сочельник. Жутко. Я спустилась двумя этажами ниже, зашла к Мушке. И у них тихо. Профессор Подснежников на дежурстве в госпитале Красного Креста, прежняя Старо-Екатерининской больница, знаете? Сама Мушка на репетиции в «Тиволи» или в театре Корша. Дома старая-старая бабушка и младшая сестренка – живая вода, души святые. Поднялась на три этажа выше. У Талановых, напротив, шумно и оживленно – гости. Уже широко отмечают, ещё до праздника. Дина в маске Моретты, звала меня остаться и привести Алика на ёлку. Мандаринами пахло. Но мне странно чужим показалось бурное веселье в бесхлебном городе. И Дина показалась чужой. Я от всех от них ушла на павечерницу в собор. Где пешком дошла, где доехала. И так чёрно на душе оказалось. Всё мандариновый запах не уходил. Дивный санный путь по свежему снегу вроде обелил чёрное. И возник попался такой, дикий, словно яицкий казак, всю дорогу гнал стоя. Пospели вовремя, на всенощную осталась. Сколько же тогда на Рогожке собралось народу! А я пришла в немом отсутствии, даже с ропотом. И круг богослужения никак не смыкался.

– Мне сейчас стало страшно за Вас. Сам роптал, так за себя не боялся.

– Но я очнулась, опаматовалась. Знаменные распевы, крюковое пение, катавасия. Взяла меня Всенощная своей поэтичностью. А стены палехские, рублёвские иконы и сотни, сотни свечей! Там за окнами сидят ноют или пьют на домашних балах. А тут... Такое вспыхнуло воодушевление, вошла в мое сердце сила вынести всё происходящее с нами. Я другой народ увидела. Свой народ. И уверовала в него. Снесёт и большевизм. А ведь кто-то из тех прихожан уже приговорен к ужасному. В самом деле, разве может человек существовать без веры? Хотя, зачем спрашивать. Стоит оглядеться. Были у нас и радости. На следующий день, в само Рождество Христово, зажгли мы ёлку, Алик светился. А мы грелись возле его умиления. Тогда-то мама снова села за рояль. Крутанулась на винтовом стуле и принялась играть. Тогда, кажется, мы снова услышали «Вечернюю серенаду» Шуберта. И нам невдомёк, что тот тихий, светлый вечер есть наше последнее общее Рождество. Натопленная комната, сверкающая ёлка, все знакомые игрушки из старых шляпных коробок, ещё крахмальная скатерть, ещё хрусталь и фарфор. Но есть на них нечего. Потом Диночка заглянула к нам, и Мушка с пирожными. С настоящими пирожными! Все мы вокруг мамы. Мама самая веселая из нас. Прямо как именинница: ясная и праздничная, глаза звездные и крылатые. За окнами темнота и снега. А у нас свет, тепло и вертеп на нитке. *И уже не я живу, но живет во мне Христос.* Так хорошо, так хорошо!

– Вы плачете?

– А когда я не плачу? Когда боль больше, чем жизнь, ты плачешь не переставая. Советы наказали штрафами Хитровку, не торговавшую в праздник. Грозилась и церквям, служившим рождественскую службу. Говорят, некоторые храмы повиновались и закрылись на два дня. Но Рогожка наша не закрывалась, в Покровском соборе всё по чину отслужили. За праздниками встали будни. Неистребимая забота даже не мытьё, не обогрев, а больше прочего поиск пропитания. Сбережения быстро улетучились. Марфинька предложила своё жалованье – перебиться. Я противилась. Мы сдавали носильные вещи в комиссионные конторы и на толчок носили. То и дело посылали Марфиньку на барахолку. А ещё по парадному ходили татары-скупщики и скупали одежды. Однажды мы выменяли шубку брата на полпуда муки. Богатство! Но мука оказалась с толчёным стеклом. Упросили знакомого дворника свезти в лес, там закопать, чтоб дворнягам не попало. Как-то пришлось снести в «Магазин случайных вещей» Алькин фан-

таскоп со стеклянными пластинами для туманных картин. Братишка воспротивился, но потом сам отдал мне его, «снеси». Вещь недорогая, конечно, много мы не взяли. Да там ещё ущерблена подставка оказалась, справа скол. Но всё же в тот момент получилось выручить немного денег на что-то остро необходимое. Потом в Институте мне выдали продовольственные карточки, стало чуть легче. Маме карточка не полагалась. По своей я получила один фунт лошадиного овса, вместо хлеба. Я размышляла, чем смогу зарабатывать? Так мало умею. Мог прожить тот, у кого в руках какое-нибудь мастерство. Газеты закрыли, выходил только их «Социал-Демократ». Так продержались до Пасхи. На Светлой Седмице новый удар – Александро-Невский собор, едва открыв, закрыли. Слух пополз, взрывать станут или под крематорий заберут. И двадцать одна его главка полетит на воздух. И больше никогда на Поющей площади трубачи не встанут, никто не услышит сводных хоров студентов перед ним. Ведь от одной такой мысли заболеть можно!

– Троицу в Листах видал...растерзанную. И не наш храм, а жалко, вот тут болит.

– Весной кое-как спаслись. Весной возрождались. А зимами мы умирали. Зимами мы исчезали. Стирались в сознании. Стекладели. Устали все страшно. Никому не было хорошо. Все ждали чего-то неизвестного и решающего. Разве постоянное страдание делает человека чище? Я – пустая. Я уступила русской революции. Празднование Троицы большевики запретили. Отменили Троицу. Теперь, через три зимы и три лета, я с ужасом догадываюсь: непременно над нами вершилось. Считавшееся выходом, что бы мы ни предпринимали, следуя единственно верному, обрывалось или приводило к непоправимому. Очевидность беды не спасала нас от гибели. Всё, всё, несло куда-то. А грозившее явную кончиной, внезапно оставляло нас неприкосновенными.

– Промысел Божий?

– Иного не мыслю. Но високосный год, как обещал, так управил. Маму схоронили зимой с восемнадцатого на девятнадцатый. Она просила похоронить её с роялем. От чего ей умирать такой молодой? Сказали, скончалась от нервного истощения. Ну от чего ей умирать?! У нас тогда за ночь вода в ванне замёрзла. И не обмыть. Средства, что ей прописали, совершенно никакого эффекта не возымели. Мне кажется, она сама внутри сдалась. И приняла гибель папы. И решила на переход в другой Свет. Отошла она стойко, без тоски и печали, с ясным и высоким спокойствием в последние минуты. Вот это вот «с роялем» только и смущало. Перед тем благословила меня и ослабла, её рукой я благословила брата. Алик умер от возвратного тифа прошлой зимой. Мы с Марфинькой тогда тоже слегли. Временами кому-то из нас троих становилось легче, но секунды сознания, утонувшие в бреду, возникали вспышками. Кто в себя приходил, тот подымался и ухаживал за остальными. И всё так быстро, так быстро. Всё понеслось ужасающими скачками. Не успели ни в лазарет свезти, ни доктора пригласить. Сгорел мальчик. А мы живучими оказались, за что цеплялись? Гробики той зимой на салазках свозили, как комоды. *Сеченное сечется море черное.* Как не готовь себя, а смерть всегда сокрушительна и внезапна. Лишь вера: им там лучше, спасает меня. Горе поднимает дух, на счастье не возвысишься. После смерти мамы мне стало триста лет, а после Алика – все шестьсот. Почему они первые? Не я ли виновата в том? Марфинька от двух гробов и голода сбежала в ночь на Прощёное воскресенье, прихватив с собой котёл для выварки белья, стиральную доску и золоченый самовар дорожный. Может, всчёт той части жалованья, какую на нас потратила. Ещё пропала брошка с бриллиантовой стрекозой. Но тут я не уверена. Может быть, сама куда затеряла. Попросись она, я бы её разочла. Дай Бог, добралась до своего Дулево.

– Как же Вы дальше... Как же Вы одна-то?..

– А я не одна. Я с женихами. В дом наш въехали артиллеристы из Красной гвардии. Их начальство сочло, что целой квартиры для меня одной много будет. Шесть комнат забрали, оставили детскую. Я кое-как переночевала взаперти три бессонных ночи. Не спится, когда у тебя за стеной гогочат, матерятся, испражняются полторы дюжины вояк. Целыми днями я

слышала, как шёл дележ. Кому белая катушка достанется, кому пурпурная; кто чулки забирает, кто панталоны, кто гребень черепаховый. И так безразлично-брезгливо следила за их спором. Самого дорогого ни им, ни мне не достать. А платья пусть разбирают. Со мной остались иконы, фотоснимки, документы и мамин ридикюль. Но когда наш старый «Offenbacher» жалобно задрожал, я не выдержала, отперлась и вышла. Представьте, они, надев сапоги на руки и грохая ими по клавишам, музицировали. Вирбели трещинами пошли. Я что-то обидное выкрикнула им, не упомяну, но показала вид такой решительный, что терзать инструмент они прекратили, даже не ополчившись на меня. Хотя далее, вероятно, мне бы не поздоровилось. Но тут объявился их командир, и бойцы стушевались. После того у меня долго оставался непрерывный шум в ушах, как будто бравший крещендо. А под вечер четвертого дня артиллеристов и самих выселили. Я снова очутилась в хозяйках. Затворилась и бродила по комнатам с упоением, с торжеством, со злорадством. Наслаждалась родной тишиной, одухотворенностью привычного, взбитой как пыль печалью. Каждая занавеска, каждый стул, каждый ящик претерпел, как и я претерпела, и теперь мы жаловались друг другу, да радовались покою. Но не успела и клозета отмыть, портреты обратно на стены развесить, как новое лихо. На следующее утро наш этаж занял Наркомпрос. Говорили, квартира, возле которой выставлен конвой из матросов, теперь есть рабочий кабинет Луначарского. Когда я оказалась с носильными вещами на мостовой, от растерянности не возникло даже мысли искать помощи. И сил не осталось, четыре дня мало ела, и кругом такие же поражённые, с опрокинутыми лицами – переселение народов. Да к тому же незадолго у Талановых и Подснежниковых сняли телефон. В тот момент ситуация напоминала водевиль, лишь смеяться нечем было. Выселяемые почему-то похватили первое попавшееся под руку: фикусы, ширму, гипсовую статуэтку купидона, подушки. И держались за них, в сущности, за неважные вещи, как за смертное, погребальное, без чего не уйти. Ждали, и то отнимут. По слухам, в других домах не позволяли взять ничего, а тут ещё по-Божески. Кругом обсуждали: большевизм всё-таки что-то специфически русское.

Лавр видел сейчас совершенное дитя, вдумчивое, рассуждающее высокими категориями, перенесшее горе за горем, хотя одного хватило бы на юную жизнь, чтобы сломиться или ожесточить сердце. Ландыш же не утратила нежности, пытливости к миру, всепрощения. Она подетски сейчас убирала за ухо неаккуратную прядь. И когда поднимала руку, согнутую в локте, ворот кофты отгибался и в вырезе на миг показывались хрупкие ключицы. Бисеринки пота блеснули на виске, как капли росы на бутоне. У Лавра голова закружилась.

– По случайности мимо проезжала m-me Сиверс и застала меня на мостовой в плачевном состоянии. Она потребовала у охраны Наркомпроса остатки моего скарба и рояль вернуть. Но ей пригрозили. Мы обе за лучшее посчитали убраться подальше. За спиной стоял вой библейский. M-me Сиверс спешила на урок к своему ученику. Как я тогда узнала, ученик занимается на инструменте по несколько часов в день. И всегда играет в первой половине дня, у него рефлекс на утреннюю игру. Поехали туда. Я ожидала с вещами в экипаже. И совершенно безразлично. Как будто в летаргический сон впала и не ждала пробуждения. Увези меня тогда извозчик загород, во тьму, в чашобу, к чёрту на кулички, ограбь на последнее, не пошевелилась бы, так стало всё равно. Но к пролётке вышел священник в рясе. И наперсный крест непреложным явлением и неизменной весомостью вывел меня из оцепенения.

Рассказ девушки мучительно тяжёл, но притягивал, как всякое исповедальное, что боишься нарушить движением, словом, вздохом. Будто вместе с нею Лавр кидал снег лопатой, защищал рояль, торговал вещи татарам, доставал муку со стеклом, хоронил мать и брата. Что же Логофет замышлял над этой девочкой?

– Вениамин Александрович принял во мне участие и действительно начал помогать. Так я оказалась в доме адвоката Лохвицкого, в малой моей комнатке над парадным. За три месяца плату внёс мой добрый благодетель. А когда я пришла в себя и поняла, надо жить, ждать нечаянной радости, не уклоняться, оказалось, меня оставляют в пепиньерках при Пединституте.

Вот и дело, вот и хлеб. Хотя, думала тогда, зачем мне теперь хлеб? Потом я объявилась у Подснежниковых. Их не тронули с выселением. Вероятно, благодаря службе профессора в госпитале «Красного Креста», он там пользуется красноармейцев. Мушка с Диной рыскали по городу, им сказали, что неизвестная женщина увезла меня на извозчике. Вот такая история. Хочется поставить точку. Самое страшное... я по...сле расскажу... Большевики лопнут... скоро... И за трубу пла...тить... Бьянка Романовна... Я против... Я воз...держиваюсь...

Вита внезапно ослабла, поникшую голову повернула вбок и опустила на руки, мгновение назад ощупывающие ладонями мережковые узоры синей скатерти. Казалось, она высказала, что давно держала в себе, ища того, с кем разделить, и со вздохом – духом – облегчения в неё вошел спокойный тихий сон.

– Вы спите?

Лавр смотрел на неё, не отрываясь. Разве люди так быстро засыпают? Перенести бы на кровать. Но как без позволения докоснуться? Голос слабый и нежный. Слышна в нём боль и печаль неизбывная. Сколько же может вынести человек? Вот эта худенькая девочка с локонами спелой пшеницы, в чём она согрешила? Как по-разному золотятся во всяком свете её пряди, густой волос будто едва сдерживается в тугой короне косы. А говорят, русые не бывают красивыми. Ещё как бывают. Он смотрел на освещенную перламутром лунного света фигуру в белой блузе и узкой юбке с раструбом. Дыхание тихое, как едва слышный морской прибой: прилив, отлив. Припомнилась Тоня-Мирра на крыльце. Галатее не храпит. Что же с Ландышем, что за гримасы и тени пробегают на лице? Что-то невысказанное дочитывается в строгом выражении девичьего лица, не размягченном даже сном. Он здесь. Он рядом. И пусть не прижавшись к телу, но совсем рядом. И тоже станет сидя спать, чтобы она тихо вот так и долго ещё спала в дому его. Что же это такое? Он и не предполагал, на чужих губах может сосредоточиться столько жизни, причиняющей ему боль и доставляющей нежность, столько притягательной полудетской прелести. На скулах её дрожали прерывистые тени сада, рисуя узоры, точно те, мережковые, на скатерти.

– Вита! Вита! Вы слышите?

Его лицо: и холодный лоб, прислоненный к стеклу, и скулы, и глаза, особенно глаза, оставались чистыми, освещенными светом, что выше сада. Ночью и в вязаном свитере стало зябко. Дует из окон. Надо щели промшить мхом. Забытая печь остывает, выстужая дом. Или просто что-то новое разбавило его кровь и бродит, разлившись по телу, обживаясь, какая-то тревога, спокойствие и торжество одновременно. Если бы он умел сочинять стихи, непременно теперь написал бы и положил ей под подушку.

Вот перед ним – как идеал чистой жизни – белый сад, голый и безголосый, где так девственно дыханье подступающего декабря. С туманного неба безостановочно падают рыхлые хлопья. Через снежное крошево видно, как лунный шарик цепляется за пику Таврической груши, путается и повисает блестящей ёлочной игрушкой в её ветвях. Снег валит неостановимым белым полчищем. Здесь разворачивается сила, превышающая понимание.

Мир есть машина.

Сейчас будет идти снег. Потом его сменит ярость солнца.

Будет день голубой. Все неотвратимо и предрешено.

А за ним, за спиной, самый важный человек его жизни. И хочется сказать: ты и я – навеки ты и я. И если даже шар земной качнется, не только город этот, мы будем вместе: ты и я. И ничего другого. Любви не намолить. И пустота непреодолима. Но больше нет, не будет пустоты. И комната, где печь почти остыла и свечи догорели, теперь как будто их земной чертог. Пусть человек смешон, когда влюблен. Но лучше в том пока не признаваться. А просто знать, а просто жить, жить рядом, рядом жить. Господи, Господь, как чудно имя Твоё по всей заснеженной бескрайней земле!

Игрушка вдруг скатилась с груши.

И нету ничего, один лишь первый белый снег.

6

Мышарник

Мышарник обнаружился в чулане.

«А денег у них никаких нет. Нету денег. Не то ели бы не ячмень с овсом, а хлеб пеклеванный. А комнаты у них оклеенные. И мебели дорогая. Такие жечь жалко. И зала с избу. И часы диковинные, в рост – дылда в киоте. Тарелочка медная туда-сюда, туда-сюда. А как загремят – страсть, сердце долу. Домик пряничный у них погоды гадает. Зачем им погоды? Выйди на двор и глянь. За часы-дылду сторговать пуда три муки можно. А домик будто теянтер. Жалка... А сад у них знатный. И яблони тута, корней с десятков перстов будет; и вишни столько же, и груша-каланча. Сарай, беседка, четыре скамейки, да качели. Будет что распилить зимою. И ставни узорчаты, дубовы, сгодятся. Одной ставней весь дом протопить можно. А окон-то не счесть. По две ставни на каждом. «Не за что», «перст», «состав», «сочиненье». Арифметика есть наука трудная. Но до весны и с арифметикой проживёшь, не сильно намучишься. Полы крашены. Мыть, не скоблить – в радость. В чулане машина такая стоит... Говорят, немчура придумал. Стирает сама – чудо, как есть. Тока мыла не напасёшься туда крошить. В залах ковры и скатерть бархатная, пурпурная с золотой канителью понизу. Рамы богатые. А картинки в них – так, страмота. Иконы старые. В каждой комнате образа. Будто у бабыньки в светёлке, ветковского письма. И божницы устроены все по чину, как в Верее. Живут двое. Чудные... На суженых не походят. На брата с сестрою больше. Но не родня. Встречаются, кланяются. Прощаются, кланяются. Малым поклоном. В комнаты друг к дружке не ходють, стучатся. Ейная спальня как шкатулочка расписная. Цвяточки по стенам. И зеркало в створках. И духи. И ширма диковинная – китайская. А он в кабинете ночуит. Сурьезный такой. Но не сердитый, нет. Добрый. Всё за столом сидеть. То пишет чего, то стругаит. Кругом стружками завалил. И всё – я сам приберу, сам приберу. А то читать возьмется. Свет жжёт. И не докричишься его. А в кабинет идти через библиотеку. Комната такая у них без окон, тёмна там. И книжек стока: от пола под потолок. На растопку пойдуть. Он арифметике учит. Она тоже учёная. Книги знает. Говорить меня учит. А я говорить разве не умею? Тут Москва, кажет. Почто я не знаю? Она – строгая, не жадная. Яйцо в рюмке ест. И красивая. Волос светло русый, почти льняной, золотится и пушится. Как с мокряди приходит, у ней аж венчик над лбом распушается. А если моет, так столько воды уйдёт! И меня приучает косы мыть часто. А банная у них с печкою и котлом. И полотенца душистые, как те флаконы в спальне, с лавандою. Не голашествуют. Токо по нынешним временам и по своей необразованности в жизни быстро она всё последнее спустят. Она помочь в стряпне берётся. То подгорит у её, то недопечётся. Та же мучка, да не та ручка. Смешно, как барыни зажмуриваются, ежели курице башку оттяпать, кролика ошкурить. Какава с ей помощница... Ручки тоненькие. Стопа дитячья. Меньше моей будет. Ледащая она, тщедушная. Но умная больно. Как начнет примеры проверять – со стыда убегай. А надясь не усмотрела за ими, печку перекалили, так отскочила на чайнике эмаль, сгорела кочерга, да подпалилась рубаха, А чайник-то какой расписной, с кочетами. Тепереча один кочет на лапу хромаить, а у другова гребня нету. Говорю же, чудики, как есть. Непригодные. Чей дом, не уразумею, евоный или ёный. Уходить отсюдова пока неохота. Хорошо у их, честно. Большие яни, старшие, а словно дети: жистии не знают. Жалко ведь. Пропадут. И почто уходить? Комнату давали рядом с залом. Да мне другая по нраву, возля кухни и печи. Окно моей светёлки через веранду на двор смотрит. В горнице хоть пляши. Тута прежде двое проживали: кухарка с нянькой. И кровать мягкая, с периной да тремя подушками. И комод имеется. На обзаведение и чашку с блюдцем дали. Фарфоровую. Там гусар с дамой в обнимку. И салфетки вручили узорчаты, и простыни две. И одежду новую. А ходики на стену я свои повесила. На

базаре задёшево взяла. Очень она напоминали мне прадедушкины, с гирей на цепочке. Мышей у их – пропасть. Длинный, хозяин, не из пужливых. А ледащая мышей страсть как боится. Не визжит, но бледнеет. Слава Царице Небесной, на хорошее место определила. Рядом и церква и базар. Мосток перейдешь и вот те рынок. Не доходя, прямо на дороге с обеих сторон, народ торговый стоит с товаром. Кто в казну платить не хочет, тот до воротчиков товар разложит на землю, на газетке иль тряпице. Здесь и подешевше сторговаться можно, пока разгона не дали. А церква на горке, лапушка, сама чисто-розова, вся в пеночках белых, а купола чёрные с золотыми звёздами. Крыльцо высокое, как у терема древнего. И внутри столько образов, столько ликов родных, что там дома в моленной дедовой. Дьякон у них старичок славненький, будто деденька наш, седой и ласковый. А настоятелем – поп строгий, словно апостол. Такого в нашей стываверской дярвени нетути. И подойти к нему за благословением боязно. Зато всё по чину, старым порядком, и стихов службой не читают, как в той «живой» церкви возля дома тётки Лыськовой. Да от барака тёткиного пепелище одно, дотла сгорел. Не приезжайте. Некуда. Всея родне в ноги кланяюсь и приветы шлю: маменьке, отцу, бабиньке, деду, тёткам и племянникам. Помню и помнить буду, как бабинька говаривала: живи аль умирай – да завсегда с Господом. Ваша Олимпиада Власовна Шурашова».

Писать Липа не умела.

Письма сводила в уме.

Лица матери не видела. Разве, когда повитуха её, склизкую сине-красную от натуги, склонила сверху над растерзанной постелью, где металась женщина в родовой горячке. Роженица взглянула на орущего младенчика, произнесла: «Девка» и дух испустила. Отец в девятьсот пятом на заработки в Москву подался, спешил к родам вернуться. Да так и не узнал, кем супруга разрешилась. Закрутился революционным вихрем, в городе сгинул. Девочку на второй титьке выкормила Шурашовская родственница, питавшая на первой новорожденного сына. А растила потом до пяти лет семья деда по отцу. Хорошо жили, зажиточно. Но сперва деда лихоманка скрутила. Потом бабинька отошла. Липу снова не бросили. Обреталась она в Верее почти до пятнадцати лет, переходя от одной тётки к другой. Шурашовых много, не потеряешься. И вроде все приветят, не обижают, в рот не смотрят, кусок не отбирают – у самих достаток имеется. И всё же что-то нелепое, может отцовская тяга к воле, тянуло её прочь из родной Вереи в город. А может, и не давали спать на деревенской печи чёрные глаза заезжего одного, бывшего в Верее по делам у попа церкви Покрова Пресвятой Богородицы. Гость и побыл-то с недельку при храме. А загляделось на него немало девок прихода. Такой ладный, со смоляным чубом и молодой бородкой, в кубанке решетиловской смушки – жених завидный. Липа с ним и словом не перекинулась. На службах, как положено, по разны стороны вставали: она слева – на женской, он справа – на мужской. И даже когда приезжий её чуть конём не сшиб и тогда не заговорила. Так у них, у Шурашовых, заведено: парень девку выходи.

Она шла из лабаза да на другую сторону тракта, а верховой с угла выскочил во весь опор. Бабы тогда ахнули, запричитали. Липа испугаться не успела; круп лошадиный над ней завис, зажмурилась и в снег осела. Потом один, другой глаз открывает, а всадник склонился, нахмурилась, и лошадиная морда близко так: горячим паром обдала на морозе. И видит Липа как проходит испуг у всадника и вот уже взгляд смеющихся чёрных глаз играет с её щеками, губами, с глазами встретиться норовит. Верховой спешился. Баранки из сидора вытянул и снизу Липе на шею надел, как бусы. Бабы на него насаждают, бранятся: ишь, вольный какой, по тракту гоняет, ушкуйник. А заезжий вскочил на коня и, разбойничьи свистнув бабам, унёсся. Прочь, в ночь, в зиму. А Липа с того дня спать сладко, детским сном, разучилась. Всё ворочалась, то к выюге, то к себе прислушиваясь. И заметила, как иной раз грудь нальётся, затвердеет и широким кругом, с блюдице, вокруг соска занает. Так ли приходит пора девичья?

Поплутав незнакомыми улицами, растерявшись от «бегающих» по тротуарам горожан, от снующих трамваев, орущих живейных извозчиков, изрядно промокнув в матерчатых баретках,

добралась-таки путешественница в Шелапутинский переулок. Лыськова – дальняя родственница кому-то, кажется всем в Верее, давно Верею оставившая – жила в бараке, приторговывала мелочью и привечала односельчан, наезжавших по делам в город. За постой брала недорого: с кого салыце, с кого медку, с кого анекдотец.

Но Липа на месте барака застала пожар полыхающий и погорельцев метущихся. Тёмное пламя бросалось на соседние здания. От страха забила под лавку в церкви. Наревевшись, отправилась в лазарет искать бабку Лыськову. В приёмном покое сказали, в ночь померла бабка от ожогов. Тогда вернулась беглянка в Шелапутинский. В храм Петра и Павла пошла – больше некуда. При храме жила с неделю, а то и поболее. Там какие-то непонятные дела творились, непонятные и срамные. Не в силах глядеть, как в церкви тутошней престол вынесли на середину, врата алтарные вдругорядь настезь, как священник тайную Херувимскую открыто читать принялся. Завывает, едва не скулит. Оказалось, посреди службы стихи принялся читать, будто студент с афишной тумбы. И служба вся на русском идет, не на церковнославянском. Ектиньи не узнать. И клирос пуст: нету певчих. Ни просфорника, ни алтарника, ни псаломщика, ни чтеца. Один новопоп. Богомольцев мало, больше любопытствующих. Бежать, бежать от поганого нового уклада. Но тут священник, главный их, статный, горбоносый и велеречивый, угворил в дом один пойти, на постой. Сказывал, навещать станет, не оставит. Липа и согласилась. Презимовать.

Мышарник обнаружился в чулане.

Сумеречным утром еще до базара выбралась Липа на двор, собрала за флигелем пучок сухой травы. В кухонной печи раскалила обгорелую кочергу, на неё намотав траву, пожгла на слабом огне. Золу перемешала, шепча молитву святому Трифону Кампсадскому, что увел из Кампсады грозивших засильем насекомых и аспидов. Золу подсыпала к мышарнику в чулане, остатки вынесла под дерева в саду, уводя царя мышиноного подале от дома. Мышей, говорят, нынешним временем продают на рынке. Но барынька так подзаработать не даст. Да и сама Липа брезгует бархатными спинками.

Довольная делом принялась собираться на базар. Кофту плюшевую на все крючки застегнула. Поверх кофты натянула стёганую душегрейку. Платок хлопковый заколола у подбородка булавкой. Плечи платком шерстяным стянула.. Проверила: юбка фильдеперсовая закрывает ноги по щиколотку, как раз доходя до обтянутых кожей пуговиц на ботиках с каблукочком. А под фильдеперсовой жмутся шерстяная юбка и подъюбник саржевый. Сто одёжек для несокрушимости. Ботки вместо развалившихся бареток заказал ей барынька у сапожников Шмидтов, торгующих на углу паро-литотипографии. Точно по ноге. Колодка у чеботарей хороша, обувка сразу села. Третьего дня рыжий Аркашка – сапожников сын – заказ доставил по адресу: частное владение Лантратовых. Глазами зыркал, зыркал, да молодой хозяин его дальше веранды не пустил. Расплатился и выпроводил. Липа из-за угла подглядывала. Ботки с каблукочком нравились Липе больше всей новой одежды – никак, первая её взрослая обувь. Городские мостовые слышат теперь скорый шаг девчонки из Вереи. Вот бы маменька с бабинькой видали.

Зажав кошелёк в руке, девочка принялась класть поясные поклоны перед образом:

– Владычица мира, Пресвятая Богородица... вели святому, кого праздник нынче... сторговать Липе... по дешёвке... смальца, мучицы и сахарина. Заступница Тёплая, Скорая, вели грабителям базарным... супостатам и храпоидолам... рабу Твою Липу обходить стороной... чтоб торговцы стали к Липе щедры и милостивы... чтоб донести харч целехоньким до дому.

Отмолясь с земными поклонами, шла Липа на базарную площадь за Горбатым мостком. Рядилась, приценивалась, собачилась, лукавила, приbedнялась, а нужный провиант выторговывала по сходной цене и счастливая, с кошельком под плюшевой кофтой с крючечками до горла, с полной кошёлкой спешила мостком обратно – домой, к знающим арифметику, но ничего непонимавшим в рыночной торговле чудикам.

От сапожников новость про заказчика ботинок с кожаными пуговичками немедля перешла к Хрящевым, соседям Шмидтов. Мирра взорвалась, запунцовела и выматерилась как обычно делала Тонька, но тут же перехватила пытливый взгляд из-под рыжего чуба и стала остывать. Мирре – лидеру профсоюза красных швцов – не подобает на чужую мельницу воду лить. Не дождется рыжий чёрт её осечки. Да и какая беда? В доме Лантратовых появилась баба, ей Лаврик обувку купил. Может родня, может... Кроме родни Тоне не приходило на ум ничего другого. Разочарованный Аркашка напросился пройти в братову комнату, выгороженную из родительской. Через стенку в комнате стариков Хрящевых, какую с ними делила дочь Тоня, слышались голоса двух споривших мужчин: брат гундосил, с ним пререкался гость его – псоватый, брыдлый Козочкин по прозвищу «Ванька Пупырь-Летит». Как зашёл туда Аркашка, спор стих. Потом из разговора Федьки с матерью Тоня поняла, сотоварищи втроем направляются на водонапорку. Брат, как попал в председатели комитета Алексеевской насосной станции, так зазнался. Щёлкал младшую сестру по носу и норовил леща дать, как в детстве, невзирая на сёстрины успехи по профсоюзной линии. В начальниках Федька будто раздался в плечах, взял себе новое имя Ким – Комитет Интернациональной Молодежи – и завел привычку сидеть на столе. Родители косились, но не перечили, оказывая всяческое уважение сыну, в люди вышедшему, и гордясь им перед соседями. Тоня подождала, пока троица отойдёт подальше от барака, а сама рысцой понеслась в швейный клуб при заводской столовой. Нынче в их тесной клубной комнате за «Воробихой» в Богородском читают лекцию по программе «Безбожник». Фабрика швцов делит клуб с рабочими завода «Красный богатырь». После лекции члены профсоюза будут решать вопрос, над какой церковью берут шефство. На повестке дня голосование по «чистке»: исключить из так называемых святых Николая Мирликийского и Серафима Саровского. Обоих по причине непростого происхождения.

Лавр метался по городу без видимой надобности. Дома не сиделось.

Стояли дни золотого листопада, и ни следа того первого снега, что покрыл рояль во дворе. Не выходило книжки читать, когда на тебя свалилась ответственность за двух сирот, двух женщин, две милых души.

Видно, как Вита изо всех сил старается казаться самостоятельной, взрослой. Приносит продуктовую карточку в общее пользование.

Липа карточку отоваривает. Выгадывая из скурых их запасов крохи и остатки, выменивает на недостающие продукты на рынке.

Вита ежедневно полгорода преодолевает для нахождения на бесполезной службе, отсиживаясь на формальных собраниях, выпускающих безумные резолюции.

Липа – девочка-подросток – стряпает, прибирается, таскается в непогоду на торжище.

Сам же он, войдя в «ярморочную» толпу, через пять минут перестает различать лица, голоса. Звуки и картинки сливаются в месиво орущих, копошащихся, вороватых, лукавых, потных существей, вожделяющих одного – обмана. По рынку таскаются разряженные крестьяне, отвратительные самодовольством, смешные в своём непонимании, как потешно выглядят. Идёт эдакая бабища, разодетая под купчиху, какую хаяла намеренно, а сама нынче худшее повторение хулимого безвкусия, гротескная фигура: юбка из габардиновой занавески, шляпа с вуалью, нелепый веер в руке, а из-под подола онучи виднеются.

Обе женщины, проживающие с ним под одной крышей, тянут ляжку свою без жалоб и сетований. А он, старший и сильный, изучает венецианские узоры и издания по клеймению амфорных черепиц из дедовой коллекции. Он, Лавр, живет историей и фантазией. А Вита и Липа – настоящей, жуткой действительностью. И выходит, будто он, старший и сильный, уклоняется, прячется в библиотеке. Изредка он приносит вырученное, случайный заработок. Хватается за домашние дела, старается помогать, и выходит у него хорошо и добротно. Но

всё не то, не то. Мало и несостоятельно. И только милый дух, возникший в доме, нацеженная в окружающем холоде теплота, как дыхание в варежку, греет, даёт ощущение семьи и слегка облегчает его досаду собою.

Лавр по просьбе Евсикова-старшего сделал две ходки с возником, когда лазарет выпи-сал профессору дрова на подступающую зиму. Дважды протащились туда-обратно на телеге от Сухаревой площади до Последнего переулка. Воз дров по нынешним временам – драгоценность, требующая охраны.

Присоединился к спасающему плантации Костику. Украдкой выкопали и, стараясь не повредить, вывезли в Сокольничью рощу гроздовник реликтовый и рацинию насекомоядную. Пересадили в парник на даче у коллеги Евса, подальше от глаз Уткина, расчищавшего посадки под гимнастическую площадку и занятия пролетариев спортом. Костик остался сильно раздосадован произволом Уткина, отдавшим приказ разорить «английский уголок» дендрария. Собирался устроить фронду.

После лазарета и фольварка навестил нового друга. На именины Анатолия выстругал жаворонка, прямо точно такого, как на Сорок мучеников пекут из теста – с глазками, клювиком, крылышками. Толик жаворонка посадил на полку над своей кроватью возле китайской фарфоровой куколки с младенчиком, похоже самой дорогой вещи его ребячьей жизни.

От дома причта перебрался мостком на ту сторону, наведаясь в переплётную мастерскую Вашутина, надеясь на новый заказ. Но Платон Платонович, как всегда, мялся: «И то-то и то-то... Так вот так». И не давал окончательного ответа, оглаживая упругую бороду и шевеля пальцами, будто подсчитывая барыш или упущенную выгоду. Пришлось вернуться домой с двумя ананасами в счёт платы за прежнюю сделку и прескверным настроением.

Работы нет.

В кухне сгрузил иноземные фрукты, Липе будет с чем на рынок идти. И побрёл к Буфетовым за советом. Вроде при деле, а сердце мается, не то, не то, настоящего бы дела, с пользой. Только и мыслей, как прокормиться втроём, как облегчить жизнь девочкам. И надо серьезно поговорить с Витой о Липе. Нынче базар не самое безопасное место, а девчужка там пропадает с утренних сумерек до вечерних и, даже одеваясь в несколько плотных одежд, возвращается с помятыми боками.

В нынешнем присутствии Виты рядом с ним есть какая-то внезапная, необъяснимая, нечаянная радость. Наградные дни – когда тебе странно и хорошо, когда достаточно видеть и знать. И даже не глядя в её чудесные распахнутые миру и всему свету глаза, понимаешь, рядом с тобой существо необычное, женщина не простая, тонкая, особенная. Женщина – странное, непонятное крылатое чудо, диво дивное, с особой чувствительностью к боли чужой, к несправедливости. Красивая, и знает о том. И нарочно стремится не быть заметной, искренне считая себя обыкновенной. Напускает строгость и суровость, при врожденной женственности и мягкости. При доброте характера остается существом твёрдым, неколебимым в своих убеждениях. Её обаяние и яркая свобода слов, движений, поступков привлекают к ней людей, сохраняя неосознанность власти над ними. Она напрочь лишена самолюбия, лукавства, раздвоенности суждений, рисовки. Она слишком девственна и слишком наивна для нынешней фактической грубой жизни. Но доверчивость и наив не дают никому лёгкости принуждения и подчинения её себе. Чуть надавишь, перегнёшь, и улетит ведь, крылатая, упорхнёт. Милая, милая Вита, как хороша, до нежности в сердце, намеренная незаметность и обаяние скромности. Непременно надо выяснить её мнение по поводу Липы. И надо расспросить про Мушку, о ней не раз справлялся Евс – Чепуха-на-Чепухе.

В задумчивости свернул почему-то не вправо, к кладбищу, где притулился домишко протодиакона и куда направлялся, а левее, на тропинку к церкви. В храм вошёл впервые с возвращения в город. Окна теньями зашторивал сумрак. С лавки дёрнулся наперерез сторож, но

распознав по виду своего, плюхнулся обратно на скамью, насупившись. Начиналась вечерняя будняя служба. Кое-где освещались лампадами образа и свечами напольные подсвечники – не ярко. Живой людской ручеек быстро двигался у иконы «Предста Царица». Молящиеся по парам, без разбора на мужчин и женщин, клали по три земных поклона образу, потом разворачивались и друг к другу тоже в землю кланялись. За ними следующие, на подрушник и в пол. И так пока все прихожане не поклонятся, до последнего, по три раза. Возле кануна слёзный бабий голос тянул: «Моего Вавила, упокой, и Кирьяна моего, и Назара моего...».

Трудно молиться по-настоящему изнутри, не правилом, а молитвой сердечной. Трудно на задворках и на запятках нутра выискивать и возносить честные слова к Богу. Трудно отойти от базара жизни, гомонящего в тебе. Но монотонный голос чтеца и немигающие взоры наблюдающих глазниц с древних ликов заставляли забыть шум города, страхи, грубость житья, вражду, подталкивая вошедших на другой, высокий регистр мыслей и чувств, приподнимая человека на самую чуточку, какую он, может быть, за собою не чаял. Несколько часов службы и пения клироса истаяли, словно пять минут упоения. Кто же так поёт-то? Кто душу вынимает? И в конце на благословении мысль: как близко к нам Небо.

Перед глазами только ножки на кресту Христовом.

И испытующий взор настоятеля.

И счастливый зрачок протодиакона: пришел-таки, путаник.

На сегодняшнем собрании Вита снова села рядом с Бьянкой Романовной Таубе – старейшей преподавательницей словесности в институте, окрестившей ежевечерние сборища на кафедре синклитом. В левом глазу у той сверкало скепсисом пенсне, окуляр, как обзывала сама хозяйка, придававшее строгости добрейшему лицу. Житейская невинность и неподкупность Бьянки Романовны, бывшей суфражистки, отрёкшейся от эпатажа в силу возраста и подлости окружающего, стали притчей во языцах у педсостава. Но прежде благородные составляющие ныне повисли веригами на реноме обладательницы. Нынешнему времени претил слишком внимательный наивный взгляд через стеклышко и искренние, осуждающие «перекосы» институтских нововведений замечания. Но со старыми кадрами вынужденно считались, пока считались.

Вита, собираясь выслушать два-три вопроса и не вникая в повестку, намеревалась ускользнуть, едва объявят перекур. Весь день неостановимо тянуло домой. Домой, домой – как сладостно снова произносить, казалось, невозможное больше для неё слово. И пусть не в центре, пусть не в их квартире на Сретенке, а на окраине – в Алексеевой слободе теперь нашёлся кров, про который можно так думать – домой. Место, в какое ты веришь, как в вероятность счастья. Дом Лохвицких, загромождённый пополняемой обстановкой с аукционов, никогда не смог бы стать родным местом.

Квартира адвоката – гавань, в ожидании парома, чтобы переправиться с одного берега жизни на другой, сначала казалась тихой заводью. Со временем, как в качке от волны, нагоняемой проходящим пароходом, закачалось и положение Виты, поселившейся у чужих людей. И пугал даже не сам хозяин, адвокат, под бдительным присмотром супруги – m-me Лохвицкой – умудрившийся не пропустить ни одного смазливого личика в своём окружении и на замызанной лестнице парадного сделать предложение руки и сердца с переселением в меблированные комнаты Солодовникова. Скорее пугал сосед – обновленческий священник. Его музицирования с m-me Сиверс по-прежнему продолжались. Вита же ощущала постоянный шум в ушах, не дающий достигать мелодиям её души. Но при настойчивом ухаживании Вениамина Александровича и возвращении музыки в повседневность Вита постепенно оправилась. Руденский призывал возродиться во имя обновленческой революции. Вита возрождалась во имя будущей вечной жизни, помня: то самое обновление, та самая революция, принесли изничтожение семьи.

Логофет, близко наблюдающий за одинокой жизнью Виты, оставался неизменно галантен, внимателен и заботлив к подопечной. Встречал, провожал, налаживал быт и питание. Дарил цветы и духи. Всячески выказывал поведением приверженность куртуазности. Почти каждый раз свободная от института по утрам Вита приглашалась им на занятия музыкой. Пьесы и элегии Шуберта, Шопена, Гайдна на какое-то время умиротворяли девушку, создавая иллюзию связи с матерью. И Вита не сразу ощутила зависимость от утренних упражнений, где тело красивого мужчины в шёлковой чёрной рясе сосредотачивалось, напрягалось мышцами и сливалось с инструментом, становясь единым звучащим организмом. Под действием своих грёз не сразу заметила исчезновение с их общих музыкальных часов m-me Сиверс. По-прежнему видела лишь чуть согнутые вперёд плечи под шёлком, мускулистые, голые до локтя под широким распахом рукавов, руки с тонкими кистями и девичьими пальцами, проворно перебирающими клавиши, как коклюшки. Острый птичий профиль, полуоборот и погруженность в музыку не выдавали нетерпения музыканта, полной обращенности к единственной слушательнице, небескорыстия и пристрастий. Казалось, Руденский самозабвенно играл песнь Гондольера. Вита очнулась внезапно, прочитав тот взгляд, легко читаемый умной женщиной, когда на неё направляют хищное внимание: тебя присвоили. И выбор тут не за тобой. И счет идет на часы, на гибель или во спасение тебе. И хочется бежать.

Тут заметила, наконец, отсутствие концертмейстера.

Тут и шум в ушах исчез.

Тут возникла ненасытная адвокатша с платой за общую трубу.

Тут случилась встреча в Политехническом. Будто что-то гнало её дальше, дальше...

Столкновение и знакомство на диспуте, среди сотен людей, в гомоне, свисте, топоте – из ряда знакомств поворотных, каких не ждешь, поражающих и запоминающихся. И видишь синие глаза, не узнающие, ускользающие взглядом, мрачнющие почти до черноты, достигнув первых рядов и сцены. Встреча – случайная закономерность? Разве силами человеческими возможно сотворить случайность?

Съехала бы она чуть раньше из Петроверигинского, отказалась бы, как много раз отказывалась, от контрамарок, и встреча с мальчиком из прошлого не состоялась. А ведь приглашение своего недавнего покровителя приняла, как последнее, что может принять от него перед намеченным бегством. Она ясно видела возмущение Вениамина Александровича, считающего не вскрытые флакончики с духами, оставленные у окна-полусферы, ждала обвинений в неблагодарности, но решила исчезнуть из адвокатской квартиры, не определившись окончательно куда: в каморку Бьянки Романовны на Воронцовом поле или на дачу Дины в Сокольничей роще.

Руденский знал за собой умение влиять на сердца, знал о производимом впечатлении от роскошного вида в сочетании чёрного с золотым, как и об отсутствии соперников, пожелавших вступать с ним в дебаты в обычной жизни, не на сцене. Но бросалось в глаза, как потускнел Вениамин Александрович при виде Лавра, грузившего вещи в экипаж. Чуть резкая нота в голосе ответом на шутку юноши выдала Руденского, как при нападках. Но нападок не было. Лавр выделялся ростом, основательностью, ничуть не отступал на второй план в коротком разговоре, переброске парой фраз, с провожающим. Священник сверкал и золотился, парень светился матово, внутренней убежденностью в правоте. Обычно священник владел разговором, тут же казался потерянным, секундами раздраженным, причём, без явного повода к конфликту. Лавр, перенося лёгонький скарб, больше будто и не замечал попа, ему открыто улыбалась, прятавшая в муфту беспокойные руки Виты. Оба мужчины слишком умны и почтительны, чтобы сварливо возмутиться, когда вроде бы ничего не произошло, на что можно было бы указать, в чём упрекнуть женщину. И нервное движение около губ, обострившийся до хищности птичий профиль Руденского, неприступное выражение отчётливо замкнувшегося лица, неподвижная фигура, словно древнего церковного сановника, подтверждали: вот-вот произойдет

что-то нехорошее, неловкое. Вита поспешила распрощаться, и не дождавшись ответа, поднялась в экипаж. Теперь вспоминала, как точно тогда подметил Лавр, действительно, мраморный Логофет, действительно, будто не человек, а явление.

Не удивило, когда спустя две недели, священник поджидал её поздно вечером у института. Ещё на подходе, из-за входной двери Вита разобрала, кто именно справляется у привратницы про Неренцеву Вивею Викентьевну. Тотчас узнала голос с нотами вальяжности и самоупоения: даже привратницу необходимо обаять. И постаравшись сделать вид, мол, ничуть не растревожена, шагнула навстречу. Зря колыхалось сердце, ни обиды, ни тепла. Примирились по поводу внезапного отъезда, мило поговорили. Руденский провожал до самой слободки и выяснил новый адрес Виты.

– Что же не приходите на мои службы? Проповеди собирают столько публики... Или Вы всё наперепутье?

– Отчего же? Я вполне определенно решила. К своим вернулась, к старой вере.

– Это Вы не определились. Это Вы шаг назад сделали.

Два раза в неделю в спальне Виты появлялись цветы, раздобываемые, вероятно, сложными путями в советских трестах. Но даривший оставался невхож в дом, собственно, явно не выказывая к тому желаний. Однажды Вита искренне сокрушалась по нехватке в своей жизни музыки. И вот спустя буквально пару-тройку дней рояль стоял во дворе частного владения Лантратовых. Музыка – это крепкая, объединяющая страсть. А другой случай – жаркий и жадный огонь с чёрной вонючей гарью клубами – подсказал Вениамину Александровичу, как можно узнавать происходящее за бирюзовыми портьерами. Так, внезапно, но очень кстати, появился третий жилец Большого дома в Алексеевой слободке – Найдёныш.

Вита с лёгким сердцем согласилась на просьбу Вениамина Александровича приютить сироту-«погорельца», прибывшую к храму Петра и Павла. С первой минуты знакомства Вита находила общее в их судьбах – обе сироты. Девчужка оказалась шустрой, толковой, смыслёной настолько, что быстрее Виты и Лавра освоилась в их общежитии, уловила уязвимости старших и свой перевес. Не успели они опомниться, сосредоточившись на ласковом приёме и жалости к бедняжке, как обнаружили себя в умелых руках воспитанницы, имеющей завидную крестьянскую хватку и сметливость в вопросах ведения хозяйства. Липа, хоть и младше своих воспитателей лет на пять, быстрее их приспособилась к ежедневно обрушивающейся на домочадцев, всё безжалостнее и беспощаднее бьющей, действительности. Лавр и Вита между собой обсуждали: не кухарку себе наняли. И сами справятся, накормят себя и Найдёныша. Сходились в одном: девочку надо готовить к гимназии и образование её должно проходить не у прилавка.

Липу учили арифметике, письму и выправляли устную речь, хотя сама Липа утверждала, нынче на рынке столько културных барышень, торгующих собственным скарбом, у каких не зазорно обучаться. Старшие и не заметили, как в лантратовском доме Липа исподволь подобра под своё начало воду, самовар, печку, дрова, котёл, распорядок дня, завтраки, обеды, ужины, вечерние разговоры. Вита внушала девочке, что она не прислуга. Зазывала её в Зоосад или на выставку картин «передвижников». Липа не понимала, чего от неё хотят, дел по дому полно, а тут куда-то гонят. Девчужке прежде не доводилось жить в городском доме и нынешнее своё жильё и житьё она принимала, как наградные дни, рынок – как подарок. Липе объясняли, не стоит тащить в дом вместе с петрушкой и брюквой базарные рассказы. Найдёныш упрямо держалась своего, выбирала момент. Например, заставала Виту врасплох, когда та переодевалась за ширмой и застревала в узком платье с поднятыми вверх руками или когда мыла волосы, попросив Липу полить ей воды. Вместе с потоком мыльной пены, в корыто, стоящее на табурете, лились новости и слухи. То про будочника-армянина, соперничавшего в торговле обувкой с храпоидами-Шмидтами, то про квартхоза Супникова, харкающего кровью, но лающего почисте цепного пса с хозяевами отбираемого жилья, то про голубятника Ваньку

Пупырь-Летит, бегающего под вечер в подвал к прачке-разводке. Иной раз прилетало столь невероятное, что Вита отказывалась верить в разум фигурантов очередного слуха и людей, их передающих. Якобы, венки с погоста собирают и снова продают в советском похоронном бюро, как новые, а в военных госпиталях раны красноармейцам затягивают лентами с кладбищенских венков. Липа тараторила, боясь не успеть, пока Вита не смоет мыло или не проденет руки в горловину платя, не выпрямится и не начнёт выговаривать за собирание сплетней и нашёптывание. Липа кротко выслушивала начёт, переводила дух и впопыхах договаривала: а прачка трезвого Ваньку принимает, а подшофе – гонит. Отходила в сторонку, ожидая, сейчас погонят и её. Но Вита хоть и журила, а понимала, девочка собирает всё подряд не из злобы или зависти, а из любопытства к окружающему в городе и по давней сельской привычке: «а у нас в Верее все так делали».

И, главное, с появлением Липы, непонятым образом оба дома, Большой и Малый, оставили мыши. В одночасье исчезли. Еще ночью привычно шуршали и возились. А наутро пропали, как не было. Липа оказалась спасением не только в быту да хозяйстве. Девочка-сирота узами, непонятыми, не названными, связывала чужих между собою молодых людей, в такое тесное единение, что будучи и не названным, и неопределённым, давало радость жить, силу терпеть ужас, выносить боль, не терять веру. Липа давала такие чувства без натуги, не задумываясь о них и переживая лишь о завтраке да обеде долговязому и ледашей.

Дождаться перерыва на перекур не получилось; заседавшие сразу принялись курить, не прерывая дебатов. Отвлёкшись на свои раздумья, Вита с опозданием сообразила, прения идут по поводу зданий Бахрушинского приюта, что соседствуют территорией с Алексеевой насосной станцией. Нынешнее управление станции готовится к отъёму у приютских двух каменных корпусов в пользу водонапорного узла. Институт должен оказать помощь сиротам, взять над ними шефство и воспрепятствовать захватническим планам. Кажется, впервые Вита проговорила «за» и с лёгким сердцем. И Бьянка Романовна так же. Обе они, счастливые быстрым окончанием синклита, добровольно выдвинули свои кандидатуры на шефство института над приютом и защиту сиротского дома. Вита быстрее обычного бежала с трамвая в тёмные переулки, ведущие к церковной горке, домой, домой, с новостью для своих: она выходит на работу – воспитателем детской трудовой школы. Наконец-то, наконец-то, настоящее дело.

Темень стояла первородная, непроломная, кое-где приходилось идти на ощупь, по памяти. Хоть бы снег выпал. Улицы совсем исчезли, ни краёв, ни очертаний. Прежде также жутким казалось проходить ночью возле кладбищ, нынче всюду кладбище: ни фонаря, ни кострища, ни путника. Патрули большим числом в центре. На окраине возле любого проходного двора можно встретить ку-клукс-клан в холстах бученных или пьяного с револьвером – персонажей ежедневных разбойничьих историй. Шалые солдаты повсюду мародерничают, и с темнотою даже стреляют.

По пути домой, оставшись впервые за день одна, гнала страхи и гадала, за что свалилось на неё счастье, когда больше и не ждала. Зачем послан ей – замершей, замёрзшей и почти неживой – тот мальчик из прошлого. И вовсе не мальчик, но светловолосый, синеглазый юноша. Как с ним легко, он свободен и прост, без всяческого налёта напыщенности, без тени самодовольства, без позёрства, такого густого всечасно у Лохвицких и Руденского. Он житейски неопытен. Но у юноши умелые руки хозяина. Со стороны кажется, словно все вещи и предметы подчиняются ему. Он внимателен, но не назойлив. Он ласков, но не приторен. Он заботлив, но не требует благодарности. Он рыцарственен и, при том, слегка насмешлив, легкоостроумен. Иной раз кажется, глядит на всё критически и всё подвергает сомнению, но никогда не доходит его шутливость до гаерства или цинизма. Когда смотришь на него со стороны, а рядом с ним нет никого, он так пропорционален, что громадности его роста не замечаешь. Зато замечаешь цельную мужскую красоту, когда он колет щепу для разжигания печи или правит плотницкий

инструмент. Смотрит на огонь, светлеет лицом, да темнеет взглядом, не по возрасту скорбным. Он тих, но не скучен. Задумывается о чудесной физической сложности мира, о таинственном и сверхъестественном. Серьёзно рассуждает об устройстве Вселенной, при том по-мальчишески увлечённо заражает своей вдохновенностью. Он верит, что можно не дать миру распасться. И тут же предлагает кротко и без сомнений принимать как утверждение: человек на всё в мире повлиять не может, но мир души своей поправить в силах. Иногда замыкается, уходит в себя, бережет внутри что-то своё, не допускает, отгораживается и тут лучше переждать. А как очнется, потеплеет, то раздаёт тепло своё поблизости всем, о ком забыл на время. Но знает ли он, какую нежность и робость вызывает в ней самой? Знает ли, как в моменты его печали слабеют её взметнувшиеся силы? Вот бы такого старшего брата. Милый, милый, брат. Вита сразу же себя оборвала: не лги. Не в братья ты бы желала его себе. Взшло его солнце в тебе, Вита, и встало в зените. Но о том невозможно сказать никому. И невозможно сказать себе. Потому что мёртвым любить нельзя. Потому что теперь любить – предать маму, папу и брата.

Перед Горбатым мостом из-под чёрной кущи вынырнула фигура со зловещей тенью. Вот оно. И отдать-то нечего. Разве серёжки? Но они мамины. До дома всего ничего, мост перейти. Мамочка! Дина, Мушка... И ничего не успела, ничего не успела. Как же так быстро? Отече Мира!

– Вита!

– Лавр?!

7

Мировая революция

Вита в который раз сбивалась с такта.

Пыталась ровно, хотя бы без сбоев, пусть не так одухотворенно, как мама, повторить «Тёмное пламя» Скрябина. Свет дня без яркого солнца торжествовал на дворе и высветлял квадрат окна в полумраке комнаты, как при выставленных рамах весною. Снова не дают электричества, вольтаж спадает до минимума. Дом второй день тонет во мраке: Георгиевская и Роушская станции намертво встали. Но дневного света, падающего на клавиши из двух угловых окон встык, вполне хватало. Тишина комнат вслушивалась в музыку и следовала то нарастающим, то слабеющим звукам рояля.

Липу ничем не удержать, та снова на базаре. Лавр, должно быть, ушёл спозаранку, в десятом часу выходного пробуждения Вита его не застала. И вот она дома одна. «Баринька» – как зовёт Лаврика их Найдёныш – чем-то заметно расстроен все дни, погружён в себя, не делится причиной частых отлучек. Единственное, чему рад – рассказам, с каким удовольствием Вита бегаёт третью неделю на службу в сиротский дом. Да, у неё наконец настоящее дело. Им с Бьянкой Романовной дали пробную смешанную группу восьмилеток в приюте имени Коминтерна, бывшем Бахрушинском. В остальных группах по-прежнему мальчики и девочки учатся отдельно. После эксперимента, вероятно, снова разделят и поручат ей мальчиков.

Вита никак не могла сосредоточиться на игре, «световая» поэма не давалась. Мысли уносились к последнему Рождеству, когда играла мама. Но насущное наступало на воспоминания. Неприятно даже беглое общение с комитетскими из Алексеевской насосной станции, тоже взявшими шефство над приютом имени Коминтерна вслед за Пединститутом.

Неприятен и скепсис Руденского, распекавшего её за переход с кафедры в сиротский дом. При том у Вениамина Александровича зло выдвинулась челюсть и даже заострённый подбородок перестал быть безвольным. Накануне он пригласил Виту в заведение «Красный петух», бывшее филипповское кафе «Питтореск», ещё раньше пассаж Сан-Галли. Властительной походкой вёл девушку по Кузнецкому мосту, по-хозяйски поддерживая за локоть. Под взглядом спутника девушке показалась тесна вся её одежда: и юбка в бёдрах и блуза в груди. Всё труднее ей стало бывать на людях с Вениамином Александровичем, и наедине всё труднее оставаться. Но тут как не согласиться, священник упредил о важной причине встречи. Снова приглашал на публичные дебаты, вскользь упомянул о сакральности «Живой церкви», делая ему одному понятные намёки.

В сущности, весь разговор свёлся к неодобрению поступления Виты на службу. Бывший пассаж Сан-Галли оправился от погрома московских заведений, принадлежавших немцам, и теперь слыл модной кофейней. После тишины Алексеевой слободки и Бахрушинского приюта, окруженного подлеском Сокольничей рощи, тут показалось неудобно. На девушку и священника в облачении оглядывались посетители. Но в их взглядах Вита не находила изумления, разве что мимолётное любопытство. Кажется, Руденский слыл здесь завсегдаем и появление церковного сановника в питейном заведении ни у кого не вызывало неприятия. Руденский долго препирался с официантом по поводу заказа, капризничал, тщеславился узнаванием. В его манерах всё более явно стала проявляться какая-то «липкость». Вениамин Александрович входил в пору расцвета своей карьеры, но заметно мельчал в глазах Виты Неренцевой. Что осталось от Великого Логофета, оказалось хуже прежнего величия. Отношения Руденского и Лавра никак не выстраивались, обострялись день ото дня, а потом накал спал. Раньше разобшение расстраивало Виту, она считала себя причиной раздоров, несходства двух интересных ей мужчин. Со временем поняла, не столько она причиною.

Руденский не напрашивается на приглашение в дом. Погорячившись, отступает. Но отступление не походило на охлаждение, скорее, на некий манёвр. В переменчивой речи, от отчитывания до вкрадчивости, в манерности, вечном поиске зеркал, приторности и елейности, читалось, что он ведёт какую-то интригу. Можно ожидать грозных событий, хорошенько не понимая, какую форму они примут, какую цель и смысл внесут. И здесь, вероятно, лучшей защитой стала бы дистанция. Девушка постаралась свернуть разговор и решительно попросилась, оставив недопитым чай, не съеденным пирожное «Мокко» и своего визави, не успевшим сообщить о рукоположении в сан епископа.

Да и директор приюта Борис Борисыч Несмеянов, в разговорах персонала просто *дир*, не поддержал её порыва. Он настороженно встретил их с Бьянкой Романовной: службистку с кафедры и «раскольницу». Принимая новеньких в штат *дир* задавал вопросы о принадлежности к партии большевиков, вероисповеданию, замужестве, вредных привычках. Виту сразу же упредил: никакой отдельной посуды, никаких отдельных полотенец, всё на общих правах с прочим персоналом советской трудовой школы. Вита, несколько уязвлённая не то чтобы приёмом, а, скорее, предвзятым отношением к человеку «старой веры», в споры вступать не стала, заложив себе целью доказать Несмеянову напрасность обособления и ошибочность его понимания староверческих традиций. Борис Борисыч же пророчествовал: обе «институтские» продержатся здесь месяц-полтора, а к Святкам или Масленице сбегут. Вита прекратила ненужный дебат, в самом деле, не пари же держать. Пока она приглядывалась к коллективу, порядкам и самому директору. И по первому впечатлению не смогла составить портрет Несмеянова. Хотя чем-то он отдалённо напоминал ей чеховского Дымова. И если бы не сами дети, сиротские стриженные макушистые головёнки, не снести бы сомнений вкупе с тяжкой работой. Здесь нужна любовь, не насилие революций. Свое горе всё затмило. И вот ты среди тех, кому хуже тебя. Разве не все теперь несчастны? Нет, не все. И почему, счастливых не найти. Счастливые тут же ходят, в кожаном. И нынешняя угроза лысым головёнкам теперь зовётся одним словом – большевик.

Вита снова сбилась с такта.

В сердцах громко закрыла крышку рояля. И тут же различила звонок с крыльца. Досада разом улетучилась. Липа так быстро сроду не возвращалась с рынка, значит, вернулся Лавр.

Низкие каблочки домашних суконных штиблет чечёточно-радостно простучали по дощатым полам веранды. Дома она носила свободную одежду: юбку с запахом и холщовую сорочку по крою матросской блузы – с отложным воротником по плечам. На службу же надевала строгий английский костюм: узкую юбку и короткий английский пиджачок поверх белой лавантиновой блузы.

Через прорезь для писем слабый луч неяркого дня разрезал тень перед дверью на нижнюю и верхнюю полосы. Вита отодвинула щеколду и отворила половинку двери без прорези. Сощурилась на свету. Перед ней на крыльце стоял мальчик с пухлыми щеками, в кожаном плаще не по росту, с подтёками до самых запыленных сапог, и в фуражке, наезжающей на уши. Два человека – открывший и постучавший – недоумённо вглядывались друг в друга, ожидая увидеть кого-то другого.

– Ты, что ль, играла? – мальчик покачивал головой в разные стороны, как бы пытаясь с одного или другого боку заглянуть девушке под подол.

Вита отступила на шаг и юбку на бёдрах одёрнула к низу. Парнишка принял отступление за приглашение войти. Шагнул, но на порожке замешкался, втаскивая одною рукою за горловину мешок-рогожку. Мешок застрял в узком дверном проёме. Мальчик ловко дёрнул и мешок справился с хребтом, перевалив за порог. Притулил по-хозяйски мешок в угол и деловито прошел вперед по веранде, но на повороте остановился и оглянулся на застывшую в дверях девушку.

– А он где?

Вита прикрыла дверь и тоже прошла. Гость ей по росту и также звонок голосом, как Липа.

– А Вы к кому, простите?

– К Лантратовым. Ты кто будешь?

– Я Неренцева.

– Так жиличка что ли?

– Жиличка.

– Вот Супников! Яртаул.

Парнишка довольно улыбался.

– Уплотнили, значит. А мне говорят, пианину привезли. Ты, стало быть, с барахлом заехала.

Гость закурил. Помолчали.

– Ты передай ему.

– Что передать?

– Там гречка-дикуша. Неободранная. Ему на всю зиму хватит.

– А от кого передать?

– От Мирры Хрящевой, от кого.

– А кто она, Мирра?

– Мирра-то? Невеста его. Мировая революция. Во! Ну, бывай, жиличка.

– Прощайте.

Вита затворила дверь на цепочку. Обрато каблучки суконных штиблет возвращались без намёка на степ. К роялю не тянуло. Есть тоже. Вита вышла через кухню на застекленную терраску. Веяло сыростью и подходившими холодами. Сад стоял перед ней голым и понурым, стихшим в зиму. Нет ничего скучнее сбросившего плоды и листву дерева. Прижалась спиной к влажному простенку. «Что же это такое? Не умею даже дать себе отчета – что же это такое?»

У воротчиков, подвязанных тряпицей, парнишка в плаще столкнулся с девахой в душегрейке. Деваха не собиралась уступать дороги, как и кожаный. Они одновременно протискивались в калитку, сжимая между собой набитую снедью корзину. Кожаный выдохнул махрой в лицо толстухе.

– Лярва!

– Телепень!

Навьюченная девка спешила сгрузить свою поклажу на крыльцо и не оглядывалась. Человек в плаще от ворот обернулся. Показалось, мелькнули под шерстяной юбкой ботики с кожаными пуговками. Но наверняка не разглядел. Дверь захлопнулась.

В конце прошлого лета инженер Николай Николаевич Колчин озадачился странностью: мысль о холостяцкой жизни его вовсе не угнетает. Однако, ново, смело. Сперва он радовался отъезду супруги и сыновей «на воды». Потом в силу погромных событий беспокоился о них. После утешился, так как житьё в оставленной ими Москве казалось гораздо хуже Крымского. Вот тогда снова обрадовался себе, как холостяку: семье у моря лучше, а ему тут одному прожить даже проще выйдет. Но когда линии фронтов гражданской войны окончательно отрезали их друг от друга, когда прекратилось почтовое сообщение, когда город наводнился слухами о жутком голоде на полуострове, вот тут-то тоска не веси о чём или о всём сразу, накрыла с головой, как бывало, накрывала волна морская.

И всё же надо держаться, надо держаться. Имелась думка кинуть дело и броситься на юг, своих искать. Но два соображения останавливали его: водоснабжение города и возможность разминуться. А если жена и сынки пробираются к нему? Претерпевают на пути такое, что и вообразить страшно. Вон как Лантратов-младший рассказывал, чуть не сгиб в дороге. Доберутся домой, его не застанут. Нет-нет, нельзя ему оставить город. Нельзя оставить водокачку, узел. Да и на кого возложить-то? На пошехонцев? У них если динамо-машина встала, так давай

её выкинем; если котёл паровой прорвало – в переплавку его; если насос «Фарко» не качает – в утиль. А «Фарко», между прочим, четыре миллиона вёдер в сутки мог бы дать!

Ничуть не доверяя нынешним «коллегам» из комитета, Колчин перебрался со Второй Мещанской в геппнеровские башни на площади Крестовской заставы. Квартира же в солодовниковском доме по-прежнему оставалась за ним, хоть и пустовала. Тоскливо бродить по просторной инженерской жилплощади, всюду наткаться на воспоминания. Переезд значительно сократил время попадания на службу: вот спустись на пару этажей, и ты – в кабинетах технической конторы. Ниже на этаж контрольная станция и ремонтная мастерская водомеров. Да к тому же из твоих окон под крышею башни, с сорокаметровой высоты Виндавский вокзал открывается, как на макете. В детстве забавлялся такой игрушечной железной дорогой с паровозиком, выпускающим пар, и с мигающим семафором. Сейчас каждый гудок паровозный обещает: приедут.

Утро инженера Колчина начиналось теперь на самой верхотуре – в квартирах служащих; там же заканчивался вечер. А весь день инженер проводил на Алексеевской водокачке, метался между казармами рабочих, машинными зданиями, литейно-механическим цехом и главными ремонтными мастерскими. К тому же дважды-трижды в неделю приходилось осматривать оборудование на Сухаревой башне, на Катенькином акведуке и водозаборных фонтанах. А когда возникала потребность скатать на Гремячий ключ, Самотецкий пруд в Мытищи, так и туда снаряжался. С Гремячего шла водичка на Москву. Новые горе-хозяева с пролетарской ширью души и подходом преобладания общего над частным нещадно опресняли Язу; река в пойме заметно обмелела. Перестали и дно речное чистить. И возле ростверков фундамента акведука всё шире разрасталась пустошь. Уходила водица. Нельзя бесконечно увеличивать забор воды. Водоносный слой скудеет. Сторожка смотрителей акведука прежде стояла на шишке-островке возле тракта и в половодье к ней с дороги или с моста можно было добраться вплавь. Лодочка имела и вёсла. За три неполных года нового правления Язу основательно выкачали. И разливалась она весной на два-три пролёта от края, со стороны Алексеевой слободы. Теперь подходи к сторожке со всех четырех сторон по суше. И баркас у мазанки сохнет кверху брюхом, как пустая ракушка.

Вода с Мытищ шла на акведук, с акведука на Алексеевскую водонапорную станцию. С водонапорки сперва подавалась на Сухареву башню. Но с тех пор, как на акведуке под землю запрятали приёмный резервуар, а на Сухаревой открыли музей и архив, вода пошла на Крестовскую заставу в геппнеровские башни. И в геппнеровых затеяли запасный резервуар на шесть тысяч вёдер. Алексеевская водокачка мощными паровыми насосами накачивала водицу в Крестовские водонапорки. Дальше водица лилась самотёком по чугунному водопроводу, а где и по старинным кирпичным галереям, в город. Алексеевская водокачка и геппнеровские башни всю пыхтели, Старая Сухарева – отдыхала. И всё же под её рапирным залом до сих пор стоял «живой» компрессор, а выше рапирного – электрический трансформатор для освещения башенных часов. Вспомнилось, как часы встали двадцать пятого октября 1917 года на одиннадцати с четвертью. Говорили тогда, будто часовые стрелки Главпочтамта на том же времени застыли. И на Спасской башне в Кремле замерли.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.